КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА



Уильям

СТАЙРОН

Долгий марш
В заразном бараке

повесть, пьеса

Долгий марш
В заразном бараке

Долгий марш. В заразном бараке
Уильям Стайрон

Аннотация
Уильям Стайрон. Долгий марш. В заразном бараке
Долгий марш
1
2
3
4
5
В заразном бараке
Акт первый
Сцена первая
Сцена вторая
Акт второй
Сцена первая
Сцена вторая
Акт третий
Сцена первая
Сцена вторая
Сцена третья

Аннотация

Война – это страшно. Но на войне солдату хотя бы ясно, кто ему друг, а кто – враг. Но когда призванный на войну человек находится не на поле боя, а в тылу, – все оказывается сложнее. Им противостоят не вражеские солдаты, а их же собственное начальство – тупые и жестокие самодуры, воспринимающие рядовых, как пушечное мясо.

Герои повести Уильяма Стайрона «Долгий марш» и пьесы «В заразном бараке» – очень разные люди.

Объединяет их, в сущности, только одно – все готовы противостоять окружающему их аду…

Уильям Стайрон
Долгий марш
В заразном бараке

Долгий марш

1

Однажды в полдень, в разгар безоблачного лета в Каролине, сухой игольник, листья плюща и ветки сосен покрыты были тем, что осталось от восьми молодых солдат. Это зрелище не вызывало даже мысли об ушедшей жизни — казалось, не люди погибли здесь, а гигантский шланг распылил по опушке осколки костей, клочья кишок и лоскутья одежды. Люди, конечно, исчезли в мгновение ока — прежде, чем успели что-либо понять, прежде, чем в их душах шевельнулся страх или мелькнула искра догадки и удивления. Страшен был взрыв для тех, кого не убило, думал лейтенант Калвер, прячась в тени санитарной машины, для той дюжины уцелевших солдат морской пехоты, которые лежали теперь на земле под одеялами, мыча от боли и ужаса, а всего час назад терпеливо стояли в очереди у походной кухни, когда две шальные мины (откуда? почему? — этот вопрос уже висел, накаляясь звенящей яростью в горячем воздухе полдня) накрыли очередь, оглушив солдат и швырнув их на землю, где они валялись до сих пор, живые, но изувеченные, в месиве крови, мозга, давленой картошки

и тающего мороженого. Несколько минут назад, в суматохе — перед тем как он отбежал украдкой от полковника и сблевал за деревом, — Калвер мельком увидел молодое, грязное от пыли и пота лицо и услышал голос, который поразил его, несмотря на подступавшую тошноту, своей спокойной рассудительностью: «Я и говорю, майор, я сидел на наблюдательном пункте; я и говорю, как только они вылетели из ствола, я сразу понял, что будет недолет, и крикнул…» Конечно, это — несчастный случай. И все же — почему? До него донесся возглас майора, но тут началась рвота, и больше он ничего не слышал — ни крика и стона раненых, ни рева продирающихся сквозь подлесок грузовиков и санитарных машин.

Вырвало его не потому, что он боялся крови, и не из-за плохого желудка. Желудком своим он, наоборот, гордился, а что до крови — Калвер видел, как она лилась на Окинаве, и сам, хоть и не совершив геройского подвига, получил осколок в ягодицу — ранение, в котором он, не в пример жене, и по сей день не находил ничего смешного. Сейчас все можно было объяснить неожиданностью. На войне зрелище смерти — дело обычное, и ты внутренне готов к нему, чем-то его оправдываешь или хотя бы стараешься не замечать — как

нищего, как насморк или социальную проблему. Но на учениях, здесь, в Штатах, в мирное время (по крайней мере многие считали мирным это знойное лето в начале 50-х годов) такая самозащита была не нужна. И поэтому от вида голых, влажно блестевших разорванных кишок, раздробленных голубоватых костей, среди которых жуткими металлическими цветами торчали вилки и ложки, живот у Калвера противно свело, словно от удара кулаком. Вдобавок ко всему пульсирующая боль в висках, когда он блевал на свои башмаки, словно вколачивала ему в голову мысль, которую он отгонял вот уже столько месяцев: он постарел, он больше не тот горячий юнец, который ползал в Квантико с ножом в зубах. Ему шел тридцатый год, он был стар и напуган.

Калвера призвали из запаса ранней весной. Когда в субботнее утро жена бросила ему на кровать коричневый конверт с повесткой, на него напала такая тоска, что он целые дни напролет слонялся, растерянно бормоча и не находя себе места. Как и большинство резервистов, Калвер не вышел в отставку после войны. Тогда ему было все равно, хотя в глубине души он верил, что этот красивый жест сослужит ему службу, если вдруг, лет через тридцать, начнется новая мировая война.

И конечно, такого случая, как «операция по поддержанию порядка в Корее», он не предусмотрел. Произошло это слишком внезапно, так что ему показалось, будто он заснул в бараке в 1945 году и проснулся только сейчас, а шесть лет свободы, возмужания и безмятежности были затянувшимся прекрасным сном. Его охватило возмущение — он давно выбросил войну из головы, и недолгие годы после Окинавы были самыми полными в его жизни. Они дали ему любящую, нежную жену, подарили дочь с таким же мягким, как у матери, характером и с такой же, как у нее, копной золотистых волос; они принесли ему диплом юриста и репутацию одного из способнейших молодых адвокатов солидной юридической фирмы в Нью-Йорке — положение, все преимущества которого (кроме материальных) он только-только начал ощущать. Среди прочих, менее важных его приобретений за эти годы были: добряк гончий по кличке Говард, с которым он гулял по Вашингтон-сквер, кошка, которую он терпеть не мог и не удостаивал звать по имени, и проигрыватель, игравший ему Гайдна, Моцарта и Баха.

До того дня, когда пришла повестка, — дня, который он силился забыть, а его жена Бетси с горечью называла «днем, когда земля ушла

из-под ног», — они жили в просторном доме с палисадником в Гринич-Виллидж, предавались прозаическим удовольствиям сытой жизни, мирным городским развлечениям и родительским утехам. Это вовсе не значит, что они забурели и превратились в обывателей. У них были живые умные друзья — большей частью молодые адвокаты, журналисты, врачи и их жены. Они устраивали вечеринки и изредка — воскресные поездки за город, когда все напивались в дым. Случались порой и семейные ссоры, но быстро наступало примирение. Оба они были достаточно разумны и не позволяли мелкому семейному недоразумению перерасти в распрю; они прекрасно ладили и, хотя медовый месяц давно прошел, по-прежнему любили друг друга. Позже, в лагере, увязнув в какой-нибудь входящей или исходящей липучке, Калвер, бывало, поднимал глаза от стола и смотрел невидящим взглядом на окутанный маревом сосняк, на раскаленные песчаные пустоши, ища спасения от неизбывной скуки в мечтах об утраченной простоте и радости. И всякий раз его мысли возвращались к одному и тому же видению: зима, воскресенье, конец дня; закутавшись потеплее, толкая весело подпрыгивающую коляску, в сопровождении ме-

ланхолического пса они выходят на прогулку. В эти часы бешеное сердцебиение города утихало; прикрытый грязноватыми лохмотьями снега, он обретал мирный облик Старого Света, а прохожие в сумерках казались румяными и довольными, какой бы тревогой ни разгорались красные шапки газет в киосках и какие бы зловещие слухи ни ползли из репродукторов. Меркнущий свет воскресенья сулил Калверу не уныние трудового утра, а рабочий азарт будней, и не потому, что он был делягой: просто он был счастлив. Он был счастлив, гуляя в холодные зимние сумерки с женой, ребенком и собакой. И был счастлив, когда возвращался домой, в тепло, к привычным запахам толченого арахиса и ливерной колбасы, к теплым объятиям засыпающего ребенка, к веселым стычкам собаки с кошкой, к музыке перед сном. Иногда Калверу казалось, что именно музыка была ключом к прежней его жизни, теперь такой далекой, как будто тонущей в темной глубине веков, и он с тоской вспоминал зимние вечера, когда он сидел за пивом и слушал — да с ним ли это было? — Гайдна. Теперь он помнил только один такт, десяток ясных, радостных нот, которые уводили его к еще более далеким, ничем не омраченным дням — последним дням детства.

Там, словно ожившие цветы на залитой солнцем лужайке, с движениями такими же воздушными, как эта музыка, две маленькие девочки играли в теннис, махали ему, звали беззвучными голосами.

Убогий городишко поблизости от лагеря был до отвращения знаком Калверу — поначалу он жил там. Оставив ребенка у сестры, они с женой приехали сюда и сняли клетушку в туристском домике. Там они прожили две недели. Напрасно искали они другое жилье — ничего больше близ лагеря не было. Они отказывались от грязных конур, за которые хозяева заламывали бешеные цены; люди с умильными деревенскими лицами и алчным огнем в глазах расписывали им свои хибары и курятники. Пожилая владелица туристского домика была сварлива и жуликовата. И в конце концов они сдались. Бетси уехала домой. На прощание он целовал ее, а кругом на автобусной станции валялись конфетные обертки, плакали под дождем напуганные дети, толпились солдаты с фибровыми чемоданами — кошмарно знакомые приметы тревоги и разлуки. Приметы войны. Щека его намокла от ее слез. То был зловещий день, и дождь, струившийся по оконным стеклам, скрадывавший очертания да-

лекой серой вереницы сосен, нудно бубнил свои пророчества и напоминания — о тропических морях, бурных просторах, о чужих берегах.

2

Он сам слышал разрыв. Они ели на командном пункте в рощице, когда справа донесся звук, как будто далекий, но слишком уж отчетливый — два удара подряд, от которых вздрогнула земля: *трам, трам.* Через несколько мгновений в тишине полдня, когда даже птицы молчали и только изредка слышались приглушенные голоса людей, на минуту переставших жевать, колыхнулся кустарник, словно от дуновения горячего ветерка. Это был знак, но никто его не понял. Листья прошелестели и замерли, и Калвер, сидевший на корточках у дерева, поднял голову и увидел полсотни лиц, обращенных туда, откуда пришел звук, и застывшие на весу ножи и вилки. Потом тишину разбил звон — на кухне среди деревьев упал котелок или сковорода, кто-то засмеялся, а полковник, сидевший поблизости, сказал майору… что же он сказал? Калвер не мог вспомнить, но какое-то беспокойство было в голосе полковника — еще тогда, когда никто ни о чем не догадывался, за десять минут до того, как радист — капрал Хоббс, шут из Оклахомы, с вечной жвачкой во рту, — подбежал к ним, отирая

рот и держа в толстой лапе полевую книжку. В штабе батальона он был своим человеком — из тех простаков, к каким всегда питает слабость начальство и кому дозволяется фамильярность не по чину; озабоченное выражение его шутовского лица всех напугало.

– *Отвес* вызывает, полковник. Никакая там не учебная тревога. В третьем батальоне ад кромешный. Мины попали в полевую кухню — санитаров просят, врача и священника. Господи, вы бы послушали, что там творится!

Сначала полковник ничего не сказал. Тень беспокойства, мелькнувшая на его лице, пропала, и если он положил вилку на место и поднял глаза, то затем только, чтобы вытереть руки платком и прищуриться на солнце, словно он получил самое обычное донесение. До чего же это похоже на него, подумал Калвер. Жест как будто бы привычный, но слишком уж обдуманный, чтобы выглядеть естественно, — сколько лет, сколько усилий пошло на то, чтобы довести этот жест до совершенства? Вот он, Темплтон, в лучшем виде, себя не превзошел, но аплодисментов заслуживает бесспорно, продолжал фиксировать Калвер, худое, тонкое, почти красивое лицо задумчиво поднято; под кожей загорелой щеки движется

язык, аккуратно извлекающий из зубов остатки пищи, маленькие руки спокойно разворачивают платок — во всем этом, как в искусстве Сары Бернар, умевшей заворожить публику самым неприметным своим движением, было гораздо больше решительности, власти, чем в напыщенных, громогласных руладах какого-нибудь армейского Бута. Прошло, наверно, секунд пятнадцать, прежде чем он заговорил. Калвера охватило раздражение — и от того, что сам он сидел как на иголках, и от жуткой тишины, которая вдруг нависла над этими пятью людьми, будто отрезанными от шумного командного пункта, — над полковником, Хоббсом, над начальником штаба майором Лоуренсом, который сидел с мокрой нижней губой, в почтительном ожидании глядя на полковника, над капитаном Маниксом и над ним самим. В зарослях пронзительно и переливчато пел пересмешник, а издали, из глубокого безмолвия, вдруг словно донесся тихий, страшный крик. Хоббс сплюнул на песок темно-рыжую табачную слюну, и полковник заговорил.

— Давайте сюда рацию, Хоббс, вызовите мне Отвес-первый, — произнес он ровным голосом и затем, не меняя тона, обратился к майору. — Билли, пошлите за доктором Патерсоном и вместе с

ним и со священником отправляйтесь в третий батальон. Возьмите мой джип. Скажите доктору, чтобы снял всех санитаров. И пошевеливайтесь.

Майор вскочил. Моложавый, статный, в начищенных башмаках, в безупречно свежей х/б, надетой, как заметил Калвер, только сегодня утром, он выглядел образцовым офицером морской пехоты. Красота его была того типа, который особенно любят в армии: лицо правильное, с тонкими чертами, спортивная фигура, — но мирная, домашняя округлость щек придавала его рту капризное выражение, и порой, когда он сидел, задумавшись над картой операции или планом учений, его молодое глуповатое лицо походило на лицо избалованного пятилетнего мальчика.

— Есть, сэр! — сказал он, почтительно склоняясь над Темплтоном. — Все распоряжения полковника о наших учениях остаются в силе? — Эта форма обращения в третьем лице, по мнению Калвера, опасно граничила с подхалимством и считалась давно устаревшей, особенно среди офицеров запаса. Майор был кадровым офицером.

Хоббс поставил рацию на песок, и полковник взял у него наушники.

— Да, Вилли, — сказал он, не глядя на майора. — Все остается по-прежнему. Мы выступаем

в назначенное время. Пусть О'Лири передаст, чтобы все роты снялись в тринадцать ноль-ноль.

— Есть, сэр! — И майор унесся, вздымая сверкающими башмаками облачка пыли и сухого игольника.

— Господи Иисусе, — сказал Маникс. Он бросил вилку и локтем толкнул Калвера в бок.

Капитан Маникс, командир штабной роты, был другом Калвера — ближайшим другом в последние пять месяцев. Этот черноволосый дюжий бруклинский еврей, сверстник Калвера, тоже пришел из запаса, продав свой радиомагазин и оставив дома жену с двумя детьми. Язык у него был острый и злой, и его шутки часто приносили облегчение не только ему самому, но и одинокому, отчаявшемуся Калверу. Маникс был озлобленный человек и порой слишком громко выражал свое озлобление. Он давно забыл о вежливых интонациях и разговаривал теперь как заправский солдат. Он утверждал, что так ему легче.

— Господи, — прошептал он опять слишком громко. — Что на это скажет конгресс? А посмотри, как наш Билли пошевеливается.

Калвер ничего не ответил. От души у него отлегло, и он огляделся. На командном пункте,

по-видимому, ничего не знали: люди вставали, чистили у кухни котелки, возвращались в тень и, положив под голову вещмешки, укладывались вздремнуть. Полковник спокойно и доверительно разговаривал с командиром другого батальона; Калвер сообразил, что именно там и произошел несчастный случай. Этот батальон почти целиком состоял из молодых резервистов, и Калвер вдруг обрадовался, что не знает там никого. А полковник все так же спокойно обещал помочь санитарами, обещал вскоре приехать.

— Тяжелое зрелище, Люк? — услышал Калвер. — Ничего, держись, мальчик. — И все это лениво, с прохладцей, почти со скукой, голосом человека, которому неприятнее всего было бы выказать малейшее волнение, человека, которому в разгар упорных, жестоких боев дали кличку Каменный Старик. Ему не было и сорока пяти, но прозвище Старик подходило ему — в волосах блестела седина, а твердый, невозмутимый, отрешенный взгляд, какой бывает у молодых священников, говорил о преждевременной старости и, может быть, даже мудрости.

Калвер увидел, как он положил наушники, встал и пошел к палатке оперативного отдела легким, пружинистым, мальчишеским шагом,

бросив через плечо:

— Маникс.

Просто «Маникс». Голос был не резкий, не властный, но и не слишком мягкий — просто голос человека, привыкшего приказывать, и Маникс, тяжело опершись о плечо Калвера, оторвался от земли и пробормотал:

— Черт, дал бы хоть обед переварить!

Маникс презирал полковника. Грузно, не сгибая ног, он вошел за полковником в палатку, и, глядя ему в спину, Калвер подумал, что Маникс вообще презирает морскую пехоту. В этом он был похож почти на всех запасных, он лишь более шумно и открыто выражал свое мнение. И Темплтона презирал не за надменность и не за самодурство, а просто за то, что Темплтон был полковник и кадровый офицер, за то, что после шести лет свободы он, Маникс, оказался в полной его власти. Маникс возненавидел бы любого командира, даже благодушного, как Санта-Клаус, и сетования его, порой шутливые, но всегда слишком громкие (как сейчас), и смешили Калвера, и пугали. Калвер улегся головой к дереву. Пока что делать ему было нечего. Над ним в тишине гудел самолет. На опушке заворчал грузовик с разомлевшими санитарами и скрылся; вокруг в причудливых позах, с

вещмешками в головах застыли спящие. Дремота охватила его, глаза слипались. Как школьника в классе в солнечный майский день, его вдруг неодолимо потянуло ко сну. Вот уже три дня шли учения, и спал он урывками, часа по четыре в сутки, а последнюю ночь вообще почти не спал; и сейчас он подумал: слава Богу, хоть сегодня отосплюсь. Он задремал; ему грезился дом, белые коттеджи, летний отпуск у моря. *Хорошая будет ночью прогулка.* Он вздрогнул — слова эти были как запоздалое эхо тихого истошного крика, который он слышал недавно, — и с ужасом вспомнил, что спать сегодня не придется. Никому. Прошло всего несколько секунд.

— Хорошая будет ночью прогулка, — повторил голос.

Калвер открыл глаза и сквозь ослепительное кружево листвы и света увидел широкое, розовое, улыбающееся лицо сержанта О'Лири.

— Черт, — сказал он, — не напоминайте мне, О'Лири.

Сержант, улыбаясь, двинул плечом в сторону палатки оперативного отдела.

— Нашему-то никак вожжа под хвост попала?

Оп хихикнул, нагнулся и, притворно застонав, взялся за ногу.

Тоска, вдруг охватившая Калвера, была почти осязаемой, смеяться ему не хотелось.

— Вы еще подержитесь за ногу завтра утром, — сказал он, — и будет вам не до шуток.

О'Лири улыбался.

— Не стоит огорчаться, мистер Калвер, — сказал он. — Обычный маршбросок. Вы и моргнуть не успеете, как все кончится. — Он помолчал, ковыряя носком башмака в сухой хвое. — Скажите, что там болтают насчет недолета в третьем батальоне?

— Почем я знаю, О'Лири? В газетах ничего не написано.

Проехал еще один грузовик с санитарами, а за ним джип, где сидел майор Лоуренс в каске, с выражением мрачной надменности на лице; руки его были скрещены на груди, как у легионера, въезжающего в завоеванный город.

— Но насколько я понимаю, — продолжал Калвер, снова поворачиваясь к сержанту, — кое-кому там досталось.

— Вот паразиты, — сказал О'Лири. — Спорить могу, что стреляли барахлом, которое валялось на Гуаме с сорок пятого. Неужели у них мозгов не хватает? Да я сам видел эти мины в прошлом году: лежат в штабелях с меня высотой, и дождь

их поливает каждый божий день, и ржавчина их ест… И, видишь ты, брезентом их накрыли; а что в нем толку, если они там шестой год валяются. Помню, раз…

Калвер не прерывал его и почти не слушал — он опять засыпал. О'Лири был сверхсрочник, «старик» (хотя летами лишь немного старше Калвера), и только недавно записался еще на четыре года; не любить его было нельзя. На Гвадалканале он был совсем еще юнцом, но за прошедшие годы морская пехота сформировала его по своему образу и подобию, и он, наверно, не противился — он прирос, прижился к ней, как приживается пересаженная хирургом ткань руки или ноги. Он был сердечным человеком, добрым и в то же время — ревностным и опытным служакой. Он мог саркастически заметить: «Нашему-то никак вожжа под хвост попала», а потом пожать плечами и ухмыльнуться, выражая этим безразличным жестом то, что укладывается в голове только у профессионального солдата: «Конечно, я малость сомневаюсь в его решениях, но выполнять все буду охотно». И так же, как Хоббсу, ему многое сходило с рук. Калвер вспомнил прошлый вечер, когда полковник объявил о предстоящем завтра ночном броске, в котором они должны за

тринадцать часов покрыть пятьдесят восемь километров — расстояние от теперешнего лагеря до главной базы. О'Лири свистнул — громко, протяжно, недоверчиво, прямо в лицо полковнику — и в ответ получил лишь снисходительную улыбку; и в той же самой затемненной палатке, буквально через несколько мгновений, когда Маникс пробормотал: «Господи помилуй, пятьдесят восемь километров», и в голосе его было не больше горечи и недоверия, чем в свисте О'Лири, улыбка сошла с тонкого лица полковника и сменилась тенью легкого, сдержанного раздражения.

— Вы находите, что это слишком много? — спросил полковник, слегка повернувшись к Маниксу. В его словах не слышалось ни враждебности, ни даже укора, а лишь прямой вопрос — быть может, потому, что в палатке находились двое нижних чинов: О'Лири и какой-то сморщенный безликий солдатик, трясшийся возле рации. Лето было в разгаре, но по ночам на болотах стояли свирепые необъяснимые холода, и в палатке, где они сидели тем вечером — на клочке раскисшей, топкой земли, — казалось, что сырость клубится вокруг, обволакивая их, пронизывая до костей, и никакие свитера, куртки, шерстяные рубашки ей не преграда. Палатку освещала калильная

лампа, висевшая над головой; она ревела, как закупоренный в банке маленький керосиновый ураган, но тепла от нее было как от свечки. В ее мрачном, мертвенном, окоченелом свете — такой бывает, наверно, в камере пыток — потупленное лицо полковника, безучастно ожидавшего, что ответит Маникс, выглядело таким же меловым, холодно-правильным, отчужденным, как лицо манекена в ночной витрине.

— Нет, сэр, — сказал Маникс. Он быстро пришел в себя. Он сидел на складном стуле, спокойно глядя на полковника. — Нет, сэр, — повторил он, — я не нахожу, что это слишком много, но переход все же будет порядочный.

Полковник пошевелил губами. Как будто улыбнулся. Он молчал — задумчивый и загадочный, облекшийся в загадочность, словно в плащ. В тишине неукротимо бушевала лампа, где-то в болотах полыхнул и коротко треснул минометный выстрел. О'Лири нарушил молчание: он громко чихнул, хихикнул, точно извиняясь, и сказал:

— Да, полковник, кое-кто набьет себе мозоли в субботу.

Полковник не ответил. Он засунул большие пальцы за пояс и повернулся к майору, который сидел за складным столом, задумчиво подперев

щеки руками.

— На днях я сидел у себя в палатке, Билли, — сказал полковник, — и думал. Я думал о разных вещах. Думал о батальоне. Я спросил себя: «А что творится у меня в батальоне? В каком состоянии мой батальон? Достиг он настоящей боевой готовности? Если завтра нам нужно будет отразить агрессора, как мы справимся с этой задачей?» Вот какие я задал себе вопросы. И попытался дать на них ответ.

Он замолчал, глаза его блестели, а губы кривились в усмешке, будто он снова бился над теми вопросами, которые сам перед собой поставил. Майор был весь внимание — он смотрел на Темплтона детскими голубыми глазами, раскрыв рот, и на розовой нижней губе у него блестела капелька слюны.

— И скрепя сердце, — медленно продолжал полковник, — скрепя сердце я вынужден был признать: батальон — в спячке. — Он снова замолчал. — В спячке. Особенно, — сказал он с сухой улыбкой, резко поворачиваясь к Маниксу, — та его часть, которая зовется штабной и хозяйственной ротой. — Он откинулся на стуле и медленно провел рукой по своим оловянным волосам. — Я решил, что небольшой марш завтра

ночью после учений будет очень кстати. Вместо того чтобы возвращаться на базу в грузовиках. Как вы считаете, Билли?

— По-моему, это великолепная мысль. Великолепная. Честно говоря, я и сам собирался предложить полковнику что-нибудь в этом роде. В целях укрепления товарищеской спайки.

— Вот именно, Билли.

— С полной походной выкладкой, сэр? — озабоченно спросил О'Лири.

— Нет, это, пожалуй, было бы слишком.

— А-а, — сказал О'Лири с облегчением.

Вдруг Калвер услышал голос Маникса:

— И даже так…

— Что «даже так»? — перебил полковник. И опять в его голосе была не враждебность, а только вежливое ожидание, словно у него заранее был готов ответ на все, что Маникс мог сказать или предложить.

— Даже так, полковник. — Маникс говорил спокойно, а Калвер вдруг напрягся, затаил дыхание. — Даже без вещмешков пятьдесят восемь километров для кого угодно путь нелегкий, а тем более для ребят, которые порядком изнежились за эти пять-шесть лет. Я согласен, моя рота не лучшая на свете, но ведь большинство в ней

— резервисты…

— Минутку, капитан, минутку, — сказал полковник Опять в его голосе, холодном и ровном, как те болота, что их окружали, не слышно было и намека на укор, он просто объяснял. — Я не хочу, чтобы вы думали, будто я затеял марш только из-за вас, вернее, из-за штабной роты. Но они не резервисты. Они — солдаты морской пехоты. Понятно? — Он поднялся со стула. — По-моему, — продолжал он бесстрастно, почти ласково, — все мы сегодня склонны делать одну и туже ошибку. Мы слишком большую роль отводим различию между двумя группами людей, из которых состоит морская пехота. С формальной точки зрения верно, что большинство новых людей у нас резервисты — в военных билетах у них действительно стоит слово «запас». Но это лишь формальная разница. Ибо прежде всего они — солдаты. И я не хочу, чтобы мои солдаты сосали лапу. Они должны вести себя как солдаты. Они должны быть в φ о ρ — м е. Если через неделю на нас нападет агрессор, им придется проделать большой, большой путь. И я хочу, чтобы завтрашний марш научил их этому. Понятно?

На лице его появилось подобие улыбки, и он тихо опустил руку на плечо Маниксу, то ли успо-

каивая его, то ли ободряя, — трудно сказать, что именно символизировал этот сдержанный жест. Картина была странная, но только Калвер видел одновременно оба лица. В гнетущем, резком свете лампы они казались греческими масками, выбитыми на жести, и контраст между ними был почти театральный: мимолетная улыбка, отчеканенная на безмятежном лице полковника, а под ним — омраченное, потупленное лицо капитана, на котором проступило вдруг и сразу стерлось выражение муки и бессильной ярости. Торжества, недружелюбия не было в улыбке полковника. Казалось, он достиг не победы, а только равновесия, восстановил благочестивое, предписанное уставом единодушие, которое поколебали слова Маникса. В тот миг полковник почти нравился Калверу; впрочем, это ничего общего не имело с симпатией: самым подходящим словом — хотя Калвер его ненавидел — было бы здесь «уважение». По крайней мере это была честная улыбка, пусть едва заметная. Улыбка человека, может быть, пустого, может быть, позера, но по природе своей не злого и не самовластного, — человека, который хотел бы услышать о себе от какого-нибудь сержанта: «Строг, но справедлив». В людях, подобных Темплтону, всякое чувство — гнев, удо-

вольствие — рождается из священного трепета, благоговения перед четким строевым шагом, слаженным топотом сапог. Сила этой страсти без промедления карает отступников, но иногда дарует прощение усомнившимся — смотря по тому, каков сам пастырь: склонен он к милосердию или уповает на инквизицию и военный трибунал. Полковник был благочестив, но склонен к милосердию. Он не был тираном, и улыбка его означала, что сомнения капитана прощены и, может быть, даже забыты. Но только Калвер видел взгляд капитана — вспышку бешенства и боли, словно на трагической античной маске или в глазах закованного раба. Потом Маникс побагровел.

— Да, сэр, — сказал он.

Полковник направился к двери. Казалось, он уже забыл об этом столкновении.

— Калвер, — сказал он, — если сможете связаться по радио с ротой А, скажите им, чтобы снимались в шесть ноль-ноль. Если не сможете, пошлите до зари связного, чтобы узнать, получили ли они приказ. — Без видимой причины, как будто от неловкости, он слегка шлепнул себя по ноге. — Ну, спокойной ночи.

Ему ответили хором: «Спокойной ночи, сэр»,

потом из палатки вышел майор, а по пятам за ним — О'Лири. Калвер посмотрел на часы — было около трех.

Маникс поднял голову.

— Собираешься спать, Том?

— Я пробовал — слишком холодно. Да все равно мне надо сменить его у рации. Как вас зовут, радист?

Парень у рации, вздрогнув, поднял глаза: он по-прежнему трясся от холода.

— Макдональд, сэр.

Он был совсем мальчишка, прыщавый, с приятным серьезным лицом и остриженный почти наголо — его, наверно, только что прислали из учебного лагеря.

— Сматывайтесь-ка спать да найдите себе кучу игольника потеплее.

Парень сонно снял наушники и вышел, застегнув за собой клапан палатки.

— Слишком холодно, — повторил Калвер. — Отвык я спать на голой земле. Старость одолевает и ревматизм. А тут еще Каменный Старик сидел битых два часа, и, вместо того чтобы дрыхнуть, мы с майором и О'Лири слушали его рассказы о Шанхае.

— Сукин сын. — Маникс мрачно подпер под-

бородок рукой и, замигав, уставился на голую парусиновую стену. Он жевал окурок сигары. Свет лампы подчеркивал плоский, монгольский склад его лица, вид у него был угрюмый и до предела измученный.

Поежившись, он плотнее запахнул ворот куртки, и Калвер увидел, как на лице его появилась насмешливая, сердитая улыбка, возвещавшая очередной приступ злости — на морскую пехоту, на армию, на собственное бессилие, на положение дел в мире; его циничные тирады были бы невыносимы, не произноси он их с таким смаком, злорадством и мрачным юмором.

— Пятьдесят… восемь километров, — сказал он раздельно, с неожиданным блеском в глазах. — Пятьдесят… восемь! Господи, спаси и помилуй! Ты понимаешь, что это такое? Это как от Нью-Йорка до Стамфорда в Коннектикуте. А я и ста метров подряд ни разу не прошел с сорок пятого года. Пятьдесят восемь километров я на санках с горы не проеду. И притом форсированным маршем. Это уже не прогулочка, а скорей на кросс смахивает. Это значит — уставных четыре километра в час с десятиминутной передышкой. Вот и выходит: штабная рота — дерьмо. Может, оно и так. Но нельзя же проделывать такие штуки

с новичками. После парочки десяти — пятнадцатикилометровых тренировок еще куда ни шло. И то если солдаты молодые. Свеженькие. Прямо из бараков. Чего он, сукин сын, добивается — чтобы эти сырые, рыхлые старики валялись на земле, как дохлые селедки, после первых же трех километров? Черт бы его взял со всеми его потрохами!

— Он неплохой малый, просто вояка, — сказал Калвер. — Помешан на своей морской пехоте — вот и писает кипятком. Они все тронутые.

Но Маникс напугал его, скрывать нечего.· если раньше поход был для Калвера абстракцией, чем-то вроде большой вечерней прогулки, то теперь он ощутил, как вместе с ночным холодом в душу ему заползает страх. Он невольно поежился. Он почувствовал себя растерянным, сбитым с толку, словно у него вдруг открылось второе зрение, проснулось седьмое чувство и сдвинуло, исказило весь мир вокруг, перенесло его в другие измерения пространства и времени. Может быть, он просто устал. Ледяное дыхание болот, вместо пола — трава под ногами, необъяснимая стужа среди лета, уродливая угловатая тень Маникса на голой стене, лампа, ревущая злобно, как ураган над морем, — от всего этого ему почудилось

на миг, что он действительно в море, заперт в глухом ящике и не знает, где он, куда плывет, и нет никакой возможности узнать это. Казалось, все, что у него было в последние годы — жена, ребенок, дом, — существовало давным-давно, а может, и не существовало вовсе, а только снилось ему; все, что он делал вчера и накануне, устало кочуя вместе с этой палаткой по незнакомым лесам, неизведанным топям, по непролазным дебрям глухих лощин, было бессмысленно, словно бред горячечного больного. Чудилось ему, что все время и пространство мира втиснуты в эту палатку, которую несет без руля и без ветрил по темному бескомпасному океану.

И хотя рядом с ним был Маникс, он ощущал беспросветное одиночество. Что-то случилось сегодня вечером, что-то сказанное или недоговоренное Маниксом, а может, и того меньше — что-то мелькнувшее у него в глазах, в знакомом выражении муки и клокочущей ярости, — и усугубило одиночество Калвера, добавило к нему невыносимую ношу. Этой ношей была тревога, безымянная пока и оттого еще более гнетущая. Не просто тревога перед тяжелым маршем. Он был изнурен, и поэтому его одолевали миллионы призрачных, безликих страхов, — страхов, с ко-

торыми он боролся бы, если бы чувствовал себя хоть немного крепче, свежее или моложе. Возраст давал себя знать. В двадцать три года все это было бы просто. Но сейчас ему было тридцать, и трое суток, проведенных почти без сна, надломили, обезоружили его. И еще одну злую шутку сыграл с ним возраст: он словно принес прозрение, заново открыл ему мир — и в этом-то лежала причина всех страхов.

Да, все дело было в этом потрясении, когда после шести лет упорядоченной, тихой жизни — тем более тихой, что он решил, будто война навсегда ушла в прошлое, — Калвер вдруг очутился в новом мире, мире ледяных ночей и полдневного зноя, суматохи, кочевья, погони за несуществующим врагом, который вечно ускользает, но не дает покоя, — зловещей гонки по болотам, по изрытым воронками полям, по долинам чужих ленивых речек. На картах, разрисованных яркими стрелками, воображаемыми танками и пушками, этот враг назывался Агрессором, и, хотя никакой агрессии в помине не было, он убегал от них, а они все гнались и гнались за ним и слали ему вдогонку мины и снаряды. Пятичасовая передышка, пять часов в палатке среди рощи, под конец такой обжитой,

знакомой, как будто всю жизнь в ней провел, — и снова он покидал командный пункт, чувствуя себя одиноким, от всего оторванным, снова пускался за призрачным врагом в неизведанные чащобы и топи. Усталость давила на его плечи, словно тяжелая рука, он даже утром просыпался усталый — если вообще удавалось заснуть. Из-за их беспрерывного кружения солнце металось по небу, как шальное, и он, измученный до одури, никогда толком не знал, утро сейчас или вечер. Переходы и сумятица наполняли его тревогой, которая была бы немыслима шесть лет назад, а теперь еще больше увеличивала усталость. Даже палатка с ее преходящей, минутной оседлостью ничем не напоминала ему дом, по которому он так стосковался, — слишком в ней было холодно, слишком похожей на гроб казалась она, когда он сидел в ней, то и дело вздрагивая от страха.

Потом он подумал, что и в самом деле боится марша, пятидесяти восьми километров — не из-за расстояния, оно вообще не укладывалось в голове, — просто он знал, что не выдержит. Маникс заразил его страхом. И он спросил себя: похож ли страх Маникса на его собственный страх; ведь как бы ни проклинал он армию, морскую пехоту, вполне может сгаться, что извращенная гордость,

которую вливали в них по капле, заставит его идти до тех пор, пока он не свалится, и боялся он не расстояния, а того, что свалится. Он поглядел на Маникса и спросил:

— Эл, ты сможешь пройти?

Маникс сильно хлопнул себя по колену. Казалось, он не слыхал вопроса. Головокружение прошло, Калвер встал и поднес застывшие руки к лампе.

— Если в полку и в дивизии пронюхают про это дело, наверняка вставят фитиль паршивцу, — сказал Маникс.

— Они уже знают. Сказали — валяй.

— Брось. Откуда ты взял?

— Он сам сказал, еще до твоего прихода. Говорит, что радировал на базу, просил разрешения.

— Паршивец.

— Сам бы он не посмел, — сказал Калвер. — Не пойму только, почему они согласились.

— Свинья. Скотина. Это он не из-за штабной роты. Сам знаешь. Отличиться хочет. Закаляю, мол, людей.

— Все же есть одно утешение, — помолчав, сказал Калвер. — Если только оно тебя утешит.

— Какое еще утешение?

— Каменный Старик, или как там его зовут, сам

пойдет с нами.

— Ты думаешь? — с сомнением спросил Маникс.

— Конечно. И ты так думаешь. Он не посмеет ехать на машине.

Маникс помолчал. Но он, казалось, был одержим идеей, что в каждом поступке Темплтона кроется злой умысел.

— Ну и сукин же сын. Он в этих походах — как рыба в воде. Он шесть лет по болотам бегал, упражнялся, пока нормальные люди, вроде нас с тобой, сидели дома и жили в свое удовольствие. Он да Билли Лоуренс. Два сапога пара. Где уж штатским тягаться с ними. Господи! А Хоббс? Ты только посмотри на этого радиста, на Хоббса. Да он через две минуты ноги протянет…

Он вдруг встал, потянулся и голосом, сдавленным от зевка, сказал:

— А-а-а, ну их на… пойду покемарю, что ли.

— Давай.

— Постель больно хороша. Плащ да куча иголок. У меня зад стал от песчаных блох как шахматная доска. Вот бы Мими на меня посмотрела. — Он замолчал и потер воспаленные глаза. — Да, — сказал он, мигая и вглядываясь в циферблат часов, — пойду, пожалуй. — Без особой сердечно-

сти он хлопнул Калвера по спине. — До завтра, браток. Не тужи. — И, мурлыча «Сидел я там полвека», неловко, по-медвежьи выбрался из палатки.

Калвер отвернулся от лампы. Он сел за стол и нацепил на голову черную гирлянду проводов и наушников. Дикий, затерянный вой позывных ударил ему в уши, смешавшись с настырным ревом лампы; холодный замкнутый мир палатки, созданный как будто для слепого гнома, казалось, вот-вот разорвется под напором взбесившихся звуков. Спать хотелось Калверу до тошноты; не сняв наушников, он уронил голову на руки. Рации слали только позывные; далеко в болотах, среди холода и мрака, спали беспокойным сном загнанные взводы и отделения. Радио ловило лишь их позывные — жалобный многоголосый вой, захлестнувший одурманенное усталостью сознание Калвера. И слышались ему вопли душ, горящих в аду, жуткий хруст, визг, лай, вой — и сквозь эти дебри звуков нитью безумия тянулся слабый долгий плач джазового кларнета, откуда-то из Нью-Йорка или Флориды, из какого-то немыслимо далекого места. Его вселенная стала еще теснее, она ограничивалась уже не стенами палатки, а этим почти осязаемым звуком. Спать

было невозможно. И вдобавок что-то тяготило Калвера: что-то он забыл, что-то он должен был сделать…

И вдруг он вспомнил распоряжение полковника. Он откашлялся и, не поднимая головы со стола, сонно забормотал в микрофон:

— Я — Узел Три, вызываю Узел А. Я — Узел Три, вызываю Узел А. Я — Узел Три, вызываю Узел А, я… — И тут он увидел себя со стороны; сидит и твердит, как мальчишка, бессмысленное: «У попа была собака…», и он подумал о Маниксе, подумал: к черту все, — и резко выпрямился.

Он не будет спать. И он снова подумал о Маниксе. Потому что Маникс стал бы над ним смеяться. Маникс издевался надо всем, в чем видел символ армии. В том числе над радиокодами. Он с яростным презрением относился к этой бойскаутской тарабарщине, заменявшей военным нормальную человеческую речь. Для Маникса это был тайный язык сообщества кретинов, кретинов, которым дан безответственный и опасный разум. Он презирал и другую сторону армейской жизни — пот, напряжение, опасность. Это он сказал однажды: «Не нужно мне ваших хемингуэевских штучек», он не желал быть «дешевым героем». И однако, думал Калвер, кто же тогда герой, если не он?

Отречение от веры уже само по себе вычеркивало Маникса из категории героев в общепринятом смысле этого слова, но если страдание — одна из сторон героизма, то Маникс был героем не меньше любого другого. На плече у него был глубокий мертвенно-бледный шрам, страшная глянцевитая борозда, особенно заметная и уродливая из-за того, что была окружена густой порослью волос. Шрамы поменьше покрывали все его тело. Маникс не гордился ими, но и не скромничал — он был просто откровенен; однажды, когда они мылись в душе после полевых учений, он рассказал Калверу про тот день, когда получил эти раны на Палау.

— Я был тогда сержантом. Сидел в воронке впереди своего взвода. Как я туда залез — один Бог знает, помню только, что там был телефон. Вдруг — бам! — япошки из минометов, и сразу мне осколок вот сюда. — Он показал на лоснящуюся треугольную ямку над коленом. — Я схватил трубку и ору им, чтобы они, Христа ради, подтащили восьмидесятки и вышибли этих япошек. Но они не торопились. Господи, до чего же они не торопились! Японцы, наверно, меня заметили, потому что мины сыпались дождем, и от каждой такой штуки мне что-нибудь перепадало. Помню

только, как ору в телефон, а кругом — мина за миной и осколки жужжат. Я ору, прошу восьмидесятку — и получаю осколок в руку. Ору, чтоб дали хоть паршивую ружейную гранату, и получаю осколок в зад — прямо вот сюда. Ору: давайте шестидесятки, давайте артиллерию, самолеты. И только заору, как получаю еще кусок железа. Ох и страшно мне было. И больно! Господи Иисусе, в жизни мне не было так больно. Потом мне попало сюда, — он, скривившись, ткнул куском мыла себе в плечо, — и тут я откинул копыта. Помню только, подумал: «Все, Эл, каюк» — и успел взглянуть на телефон. Понимаешь, провод, оказывается, был порван к черту, прямо у меня за спиной.

Нет, Маникс, видно, не был героем — не больше, чем все они, захваченные последними войнами, в которых вот уже пятнадцать лет боец был крепостным у телефона, радара и реактивного самолета — у целого племени замысловатых и оттого вероломных машин. Но Маникс однажды пострадал, и этого «однажды», по его словам, было на один раз больше, чем надо. Страдание озлобило его, заставило пристальней, даже циничней разглядывать свои новые цепи, обострило его нюх, и он уже чуял в тяжелом затишье те ветры,

которые, поднявшись однажды, швырнут их всех в новую бойню. Он смущал Калвера. Он не просто брюзжал — он восставал неукротимо и открыто; его бунт казался Калверу и смелым, и опасным.

Калвер впервые столкнулся с бунтарем пять месяцев назад, вскоре после того, как их призвали. Тогда они еще не знали друг друга. Шли обязательные лекции, которые должны были познакомить младших офицеров с последним словом «новой десантной доктрины». Обстановка лекций была пугающе знакомой: душная аудитория, битком набитая осоловелыми лейтенантами и капитанами, ярко освещенная кафедра с огромными картами и схемами, диапозитивы (когда гасили свет, можно было вздремнуть украдкой, совсем как в офицерской школе семь лет назад), череда майоров и полковников с указками и картами и их мучительно нудные, зазубренные лекции — дух ученой серьезности, тем более зловещей и многозначительной, что никто ничего не понимал, кроме самих майоров и полковников, да и не желал понимать. Калвер сел в темноте, когда показывали диапозитив, и очутился рядом с большой разомлевшей массой, в которой распознал капитана; масса храпела. Свет зажегся, но Маникс продолжал спать, оглашая зал громким,

спокойным храпом. Калвер толкнул его локтем. Маникс заворчал спросонок, но потом сказал: «Спасибо, друг!» На кафедру поднялся молодой полковник. За ту неделю он прочел уже много лекций. Голос у него был необычайно густой и по-мужицки хриплый, но читал он размеренно, со сдержанной страстью, мрачно и торжественно перегибаясь через кафедру, — тощий опрятный человек, остриженный так коротко, что издали казался почти лысым.

— Эсэсовец, — шепнул Маникс, — сейчас подойдет и оттяпает тебе яйца. Ты еврей небось? — Он ухмыльнулся, снова навалился на стол, подпер лоб рукой и тихо погрузился в сон.

Калвер не мог вспомнить, о чем толковал полковник — переброска боеприпасов, материально-техническое обеспечение, снабжение прибрежных плацдармов, перспективное планирование — все абстрактное, необъятное, — и глаза его загорались огнем каждый раз, когда он упоминал о «грандиозной доктрине», сформулированной за то время, пока все они были в запасе. — Это уж как пить дать, — прошептал вдруг Маникс. Он как будто совсем очнулся от сна и внимательно слушал лекцию; обращался он не к Калверу и не к полковнику, а в пусто-

ту. — Как пить дать грандиозная, хоть ты, может, и не знаешь, что значит «грандиозный». Ты же душу продашь, чтоб сбросить на кого-нибудь бомбу. — И, передразнивая разговор полковника с капралом — одним из тех холуев, что разносили по рядам после каждой лекции стопки печатных или стеклографированных схем, таблиц и тезисов, которые тут же незаметно выбрасывались, — прошептал хрипло, с издевательским воодушевлением: — Будьте добры, капрал, пустите по рядам образцы атомных бомб. — И громко, так, что было слышно по всей аудитории, хлопнул по ручке кресла; все головы повернулись к нему, но полковник как будто ничего не заметил. — Черт бы вас всех побрал! — прорычал Маникс, а полковник хрипло бубнил:

— Назначение нашей группы, объединяющей наземные, морские и воздушные силы перед лицом противостоящего агрессора…

Позже, к концу недели, Маникс спокойно и во всеуслышание изложил свое кредо, что сделало его популярной личностью среди резервистов, хотя внушило им определенный страх и сомнения в его психической уравновешенности, Калвера же заставило долго ломать голову над тем, почему это сошло ему с рук. Может быть, это объясня-

лось его физическим превосходством, тем, как он держался. В его речи слышалось порой какое-то тяжеловесное, громоздкое величие. Он был огромный человек, и, казалось, этим объяснялась его прямота, его громогласная честность, подобно тому как звук, идущий от деки, тем глубже, чем больше ее размеры. К тому же он пострадал на войне, и страдание придало его глазам то непокорное, неистребимо презрительное выражение, которое, словно кровавое пятно на рубашке или рана, издали предупреждает беспечного: обращайся с осторожностью. Он был громаден, в нем чувствовалась сила. И Калвер понял, что тощий, стриженный ежиком полковник даже не подумал о выговоре или о наказании потому, что был ошеломлен, физически подавлен тем непреложным фактом, что перед ним стоял не просто курсант, не просто капитан, его подчиненный, а упрямый и разгневанный человек. Случилось это после лекции о транспортировке боеприпасов, когда полковник задал какой-то отвлеченный, гипотетический вопрос и наугад по списку вызвал Маникса, а тот встал и коротко ответил: «Не знаю, сэр». По аудитории пронесся удивленный шепоток, ибо полковник предупредил, что требует не обязательно точного ответа,

а хотя бы догадки, предположения, даже если слушатели незнакомы с предметом. Но Маникс ответил только: «Не знаю, сэр», и полковник с легким раздражением, словно Маникс неправильно его понял, перефразировал вопрос. Наступила тишина, и все обернулись, чтобы взглянуть на человека, который ведет себя так вызывающе.

— Я не знаю, сэр, — повторил он громко, но спокойно. — Я не знаю, о чем бы я позаботился в первую очередь, составляя такую таблицу распределения. Я — пехотный офицер. Моя военная специальность 0302.

Лоб полковника порозовел.

— Я же сказал, капитан, что хочу услышать хотя бы самый приблизительный ответ. Я и не рассчитываю, господа, что вы знаете этот вопрос до тонкости, от вас требуется лишь высказать свои предположения.

Маникс стоял, огромный, неподвижный, и, не мигая, смотрел на полковника.

— Могу только повторить, — сказал он наконец, — что у меня нет ни малейшего представления о том, что здесь следует учитывать в первую очередь. Я не кончал транспортного училища. Моя специальность 0302. И осмелюсь почтительно заметить, сэр, что едва ли тут найдется

человек, знающий ответ. Они забыли даже то, что знали семь лет назад. Большинство из них винтовку не сможет разобрать. Они стары для этого. Им полагалось бы сидеть дома, с детьми.

Он говорил с жаром, но сдерживался, стараясь не выказать злости и непочтительности. В словах его была суровая простота неоспоримого факса словно перед судьями выступал адвокат, настолько убежденный в невиновности своего подзащитного, что ему не нужно было горячиться и краснобайствовать. Он умолк, и воцарилась мертвая тишина; глаза у полковника полезли на лоб, казалось, от изумления он лишился дара речи. Потом несколько неуверенно он назвал другую фамилию, и Маникс сел, глядя перед собой остановившимся взглядом.

Дело пахло военным судом, по меньшей мере взысканием, однако все обошлось. Ничего не было — никакого резонанса, никакой отдачи, ровно ничего. История либо была забыта, либо запечатлелась где-то в коллективной полковничьей памяти, где все подобные происшествия сортируются на предмет грядущего воздаяния. Но как бы ни подействовала эта история на полковника и какие бы высокие инстанции ни прослышали о ней, на Маникса она повлияла определенно. И

результат был неожиданный. Маникс как будто не отвел душу, а, наоборот, еще больше ожесточился, еще охотнее срывал злость — на себе, на начальстве, на ком угодно.

В то время в глазах Калвера его образ был неразрывно связан с «Райскими вратами» — так прозвали злоязычные рядовые дом офицеров, воздвигнутый чьей-то прихотливой рукой прямо посреди болотистой равнины. Они с Маниксом жили наверху, в комнатах для холостяков. Место это своим беспечным изобилием напоминало средиземноморский курорт, и зеркалом, воплощением его роскоши, был плавательный бассейн, сверкающий, будто овальный сапфир в оправе песчаных дорожек, цветников и причудливой поросли пляжных зонтиков. Здесь ежедневно в десять минут пятого, едва успев сбросить форму, появлялся Маникс — огромная понурая фигура с бокалом джина в руке, в цветастой рубахе навыпуск, по которой в типично гражданском беспорядке порхала эскадрилья чудовищных бабочек. И Маникс, и Калвер ненавидели это место — его поддельную роскошь, атмосферу пьянства и тупой праздности, танцы, пустой служебный разговор кадровых офицеров и томные, напевные голоса их жен, которые надменно

прогуливались перед резервистами, красивые и зазывно-неприступные. Здесь все дышало скукой, неприкаянностью, разложением. «Тюрьма какая-то, — говорил Маникс, — все к твоим услугам, кроме счастья». Однажды ночью, напившись — а он редко позволял себе такую роскошь, — Маникс вытащил из комнаты все бумаги, книги, мебель и, запинаясь, но решительно, заявил, что намерен спалить это заведение. Калвер отговорил его, хотя в душе с ним соглашался; они проводили здесь время от безвыходности — на сотню миль вокруг не было другого места, и некуда было податься, даже если бы они захотели.

— Черт возьми, это унизительно, — сказал однажды Маникс, как будто желая выразить все одним словом. — Это как с женщинами. Вернее, без женщины. Малолетку какому-нибудь, может, и ничего — обходится без этого дела, но если тебе под тридцать — это унизительно. Просто-напросто унизительно. Если бы не Мими, я бы давно уже подцепил одну из этих гарнизонных шлюх. И вся эта петрушка — сплошное унижение. Я знаю, сам виноват, что не уволился вчистую, тут и говорить нечего. Болван был. Да разве я думал, что меня будут призывать из-за всякой вонючей международной склоки? Унизительно, понимаешь? — И

жестом мрачного отчаяния он выплеснул в рот остатки из своего стакана. — Унизительно человеку моих лет ползать на брюхе, как псу. А еще унизительней… — Он окинул презрительным взглядом сверкающую хромом террасу у бассейна, где гроздьями матовых лун висели японские фонарики и в вялых приморских сумерках вился серебристой канителью пустой и пронзительный женский смех. Стояла тихая южная ночь, обсыпанная звездной пылью, и отдаленное блеяние саксофона казалось печальным и нерешительным, как это удушливое лето и страна, застывшая на грани войны и мира. — А еще унизительней приходить каждый день с полигона и торчать в таком вот ночном клубе, когда тебе только одно нужно — вернуться домой. К жене и детям. Не могу я здесь, понимаешь?

Но под этим бунтом, чувствовал Калвер, у Маникса, как и у всех у них, крылось смирение. Ведь Маникс был из поколения безропотных, он и сам сознавал, наверно, что бунт его — не общественный, а личный, и потому безнадежный, даже бессмысленный, что силки, в которые все они попали, не разорвешь в одиночку, только затянешь еще туже.

— Знаешь, — сказал он как-то, — я, наверно,

только раз как следует испугался в прошлую войну.

В его словах было какое-то покорное равнодушие, и сказаны были они равнодушно, как «в прошлое воскресенье» или «прошлый раз, когда я был в кино». Разговор происходил на пляже, куда они отправлялись каждую субботу, когда стояла жара. Здесь, на берегу моря, в мрачном уединении, соприкоснувшись со стихией более значительной и более долговечной, чем война (по крайней мере так им казалось в солнечный полдень), они ощущали почти полный покой. Маникс был умиротворен и кроток — чуть ли не впервые с тех пор, как Калвер с ним познакомился, — и звук его голоса после долгих часов, напоенных тишиной и солнцем, поразил Калвера.

— Да, черт возьми, — сказал он задумчиво. — Испугался я всего один раз. То есть по-настоящему испугался. Мы жили в Сан-Франциско, в отеле. Знаешь, ближе к смерти, чем тогда, я, наверно, ни разу не был. Мы напились в дым — свиньи свиньями. Человек пять нас было — только что из учебного лагеря. Щенки. Сидим, значит, в этом номере на десятом этаже, и такие пьяные, что дальше некуда. Я в ванную пошел — принять

душ. Было поздно уже, за полночь; ну, принял я душ и вхожу в комнату голый, в чем мать родила. Я вхожу, а двое из ребят меня уже ждут. Схватили и тащат к окну. А я так нагрузился, что даже отбиваться не могу. Выпихнули меня в окно и за пятки держат, а я вишу в воздухе вниз головой, голый, в чем мать родила, и до земли мне лететь — десять этажей. — Он замолчал и отпил пива. — Представляешь, что я чувствовал? — медленно продолжал он. — Я сразу сделался трезвый как стеклышко. Представляешь, что значит висеть на десятом этаже вниз головой, когда за ноги тебя держат двое пьяных? А я, понимаешь, тяжелый был, ну как сейчас. Помню только: огоньки внизу — крохотные, людишки словно муравьи ползут, и держат меня за мокрые, скользкие щиколотки два пьяных идиота, ржут-помирают и никак не договорятся, отпускать меня или нет. Помню, холодный ветер меня обдувает, и темная, знаешь, конца ей нет, темнота кругом, и ноги мои потихоньку выскальзывают, выскальзывают… Веришь или нет, но я действительно увидел Смерть, и единственное, о чем я тогда думал, — эти гады вот-вот меня выпустят, я сейчас упаду и разобьюсь об эту твердую, твердую мостовую. Я, наверно, молился. Помню только, как стучит

в голове кровь, как выскальзывают ноги и еще какой-то жуткий звук. А я, понимаешь, руки тяну, за воздух цепляюсь. А потом подумал: что это за звук такой, громкий, высокий? И понял: это я сам ору благим матом на весь Сан-Франциско. — Он умолк и повозил по песку заскорузлой пяткой. — В общем, втащили обратно. Другие двое, которые были потрезвее, они меня и втащили. И теперь, как вспомню об этом, мурашки по спине бегают — вверх и вниз, здоровые такие, холодные мурашки.

Он засмеялся, невесело, безразлично, пожевал кончик сигары и снова замер, уткнув локти в песок и глядя на море. И злость, и горечь его как будто растворились в горячем соленом воздухе; распростертый на песке, с лицом, тоскливо обращенным к морю, густо заросший волосами, в темных очках, с сигарой во рту и жестянкой пива в руке, он казался Калверу сонным, добродушным, словно громадный мохнатый младенец, убаюканный прибоем и приемлющий все на свете, все готовый вместить в тот гигантский вакуум, который оставили после себя гнев и ожесточение, все — и новые муки, и даже смерть. В воздухе пахло войной. Белоснежные гребни волн, словно венки в темных волосах девушек, мерно

катились с востока, от Африки, а с горизонта, из-за дымчатых этих валов, будто возвращалось эхо прибоя, похожее на раскаты дальней грозы или пушечного грома. Калвер вдруг дернулся на песке, и боль захлестнула его горячей волной. Боль одиночества, тоска по дому, страх. На окраине его памяти две маленькие девочки играли в мяч, звали его, махали ему и потом исчезли, скрылись за дождевой пеленой полузабытых звуков музыки. Маникс молчал, и от этого одиночество становилось еще беспросветней. Вдруг Калвер сам почувствовал себя как Маникс — опрокинутым в ночи, беспомощно повисшим над бездной, — и в голову ему бросилась кровь, горло сдавил ужас…

Багрово-красный в полуденном свете, над ним стоял О'Лири и все еще говорил. Калвер, вздрогнув, открыл глаза. О'Лири улыбнулся:

— Ночью вы совсем загнетесь, лейтенант, если сейчас на ногах не держитесь.

Калвер пытался заговорить; время раскручивалось вокруг него огромной спиралью, и он, все еще опутанный обрывками кошмара, не мог сообразить, что с ним. Ему казалось, что сейчас еще ночь и он лежит в палатке.

— А? Я спал, О'Лири? — спросил он моргая.

— А как же, сэр, — усмехнулся О'Лири, — ясное

дело, спали.

— Долго?

— Да с полминуты.

— Ох и устал я. Вчерашняя ночь мне снилась, — сказал Калвер.

Он встал. По вырубке в облаке пыли проехал грузовик. На командном пункте опять началась суматоха. Калвер и О'Лири разом повернулись к палатке — оттуда к ним шагал полковник с Маниксом.

— Калвер, давайте джип и шофера, — бросил он не глядя и направился к дороге. Тон его был сух и энергичен, он прошел мимо мелким четким шагом, и трость — шлеп-шлеп — шлепала в такт по грубой бумажной штанине. — Вы и капитан Маникс поедете со мной в третий батальон. Посмотрим, чем им можно помочь. — Голос его замер.

Маникс молча плелся за ним, и его лицо показалось Калверу еще более измученным и хмурым, чем час назад.

Пыльный проселок, беспрерывно петляя, терялся в тощих заброшенных пашнях. По сторонам его разбросаны были лачуги, тоже давно покинутые. Сели в машину: Маникс и Калвер — сзади, полковник рядом с шофером. Ехать было недалеко,

километра полтора, но Калверу дорога казалась бесконечной; весь мир — судорожная карусель звуков, слышимых сквозь сон, движений, лишенных смысла, — казался ему разорванным и устрашающе далеким, как будто он смотрел на него глазами крота или наркомана. Мимо тучами проносилась пыль. В синем, безоблачно-голом небе в зените застряло солнце и молотило жаром по земле, не суля дождя ни днем, ни ночью. Маникс безмолвствовал, Калвер повернулся к нему. Тот смотрел прямо перед собой, сверля взглядом затылок полковника. Загнанный зверь, в глазах — ярость и боль, почти отчаяние; эти глаза вдруг напомнили Калверу о том, что ему предстоит увидеть; голова у него закружилась, он отвернулся, и перед ним в пыльном облаке проплыли развалины негритянской халупы: расщепленная дверь, обгорелый фасад, развороченные стены — мишень, которую на миг словно заслонили тени изгнанных и мертвых, траурные тени, прокравшиеся в этот бредовый полдень, чтобы забрать у руин горячий запах жимолости и кухни, густое жужжание пчел. Калвер закрыл глаза и задремал; подбородок его отвис, тело обмякло, живот чуть-чуть вздымался от дыхания.

* * *

У одного глаза были закрыты, и на длинных черных ресницах блестели слезы, будто он устал плакать и заснул. Когда они наклонились над ним, то увидели, что он совсем еще мальчик. Ветерок, принеся с болот запах гари и пороха, шевельнул его волосы. Прядь упала ему на лоб, словно и в этой вечной неподвижности он должен был остаться самим собой — взъерошенным застенчивым парнишкой. В траве вокруг курчавой головы скакали кузнечики. От нижней части лица у него ничего не осталось. Калвер поднял голову, и глаза его встретились с глазами Маникса. Капитан плакал. Он бросил взгляд, полный муки, на полковника, стоявшего на дальнем краю поляны, потом снова на мальчика, потом на Калвера.

— Когда же они оставят нас в покое, сукины дети? — прошептал он, всхлипывая. — Когда же нас оставят в покое?

3

В тот вечер, перед самым началом марша, в башмаке у Маникса вылез гвоздь.

— Видал? Везет как утопленнику, — сказал он Калверу.

Они сидели на насыпи над дорогой. В синих сумерках уже зажглись звезды, но жара не спадала. Душная, влажная, липкая, она облегала людей, как пальто. Батальон — тысяча с лишним человек — был готов к маршу. Построенный двумя шеренгами по обеим сторонам дороги, он растянулся почти на два километра. Калвер заглянул в башмак — гвоздь из каблука проткнул стельку и торчал наружу, злобное, острое жало. Маникс изучал подошву своей громадной грязной ноги. Он оторвал кусочек кожи, задранный гвоздем.

— Тьфу ты, пропасть, — сказал он, — дай мне перевязочный пакет.

— Эл, он все равно проколет, — отозвался Калвер, — ты лучше достань другие ботинки. Или попробуй забить его штыком.

Маникс постучал по гвоздю и с досадой выпрямился.

— Не уходит до конца. Ну, ты дашь наконец

пакет?

На рукаве его куртки виднелись ржавые пятна крови, которой он испачкался днем. В голосе слышалось раздражение. Всю вторую половину дня он ходил унылый и подавленный — зрелище бойни потрясло его, наверно, не меньше, чем Калвера. То он был задумчив и рассеян, то вдруг впадал в беспричинную ярость. Словно что-то сломалось в нем. Настроение у него стало неровное, и угадать, что с ним случится через минуту, было невозможно — кислое угрюмое молчание то и дело сменялось вспышками гнева. Калвер никогда еще не видел его таким капризным и резким с солдатами, к которым он всегда относился по-дружески. Весь день он то придирался к ним, ворчал, рявкал, то, вдруг замолкнув, погружался в тягостное раздумье. Два часа назад, пока они ели, сидя на корточках в высокой траве, он не произнес ни слова, если не считать отрывистого и бессвязного, как показалось Калверу, бормотания насчет того, что пусть его люди возьмут себя в руки. Этот взрыв как будто сорвал с него кожу, оголил нервы.

А сейчас он опять был раздражен, взвинчен, и в голосе его звучали досада и нетерпение. Наклеивая на ногу пластырь, он ворчал:

— Скорее бы уж началось это представление. Вечная история с морской пехотой: ты тут стоишь, гниешь полночи, а они в это время изобретают свою грандиозную доктрину. И почему я не пошел в сухопутные? Да если бы я знал тогда, в сорок первом, куда я попаду, я бы в окошко выскочил из призывного пункта.

Он поднял голову и посмотрел туда, где во главе колонны стояло штабное начальство. Три или четыре офицера собрались на дороге. Полковник был среди них, подтянутый, почти франтоватый, в новых брюках и ботинках. Его фуражка с блестящим серебряным листиком была сдвинута на затылок. На боку висел пистолет калибра 9,65, отделанный серебром и перламутром. По обыкновению, он был заряжен, но зачем — неизвестно, ибо никто еще не видел, чтобы полковник из него стрелял; впечатление создавалось такое, что это просто эмблема, символ власти, как золото на фуражке или гранаты на груди. Как трость, как кличка Каменный Старик, как задумчиво-важное выражение лица, пистолет был лишь принадлежностью спектакля, и слава Богу, думал Калвер, спектакль не так помпезен и оскорбителен, как можно было бы ожидать. Ты просто должен поверить, что полковник одинаково немыслим без

пистолета и без клички Каменный Старик, а раз так, раз спектакль безобиден и просто тешит его тщеславие — стоит ли винить человека, спрашивал себя Калвер, за то, что ему жалко расстаться с аксессуарами?

Маникс тоже наблюдал за ним, наблюдал, как с легкой улыбкой, скраденной сумерками, засунув большие пальцы за пояс, полковник постукивает мыском башмака по песку — моложавый и свежий, беспечный, как атлет посреди гудящего стадиона, уверенный в своей победе задолго до начала состязания. Маникс откусил кончик сигары и со злобой выплюнул.

— Ты только посмотри на этого сморчка. Думает, мы сдохнем на полдороге.

Калвер перебил его:

— Слушай, Эл, что же делать с гвоздем? Ты бы сказал полковнику, он разрешит тебе сесть в…

— Ну нет уж, — яростно прохрипел Маникс. — Не дождется, садист, Эла Маникса он не укатает. Сколько этот сукин сын пройдет, столько и я пройду, и еще милю. Он говорит, штабная рота в спячке. Ладно, я ему покажу. Я по битому стеклу пойду — не попрошусь в машину. Я…

Они молча посмотрели друг другу в глаза и смутились.· каждый прочел во взгляде другого свои

мысли. Затем оба отвернулись. Маникс что-то пробормотал и начал шнуровать ботинок.

— Правильно, Эл, — услышал Калвер свой голос. И почувствовал, что силы его на исходе.

Наступала ночь. В оцепенении он смотрел на дорогу: там, опираясь на винтовки, сидели люди, курили, переговаривались тихими, усталыми голосами, над ними в сумерках огромным сизым облаком поднимался дым, взвивались и падали в панической суматохе тучи мошкары. В болоте лягушачий хор завел свою безумную песню, в звуке ее Калвер слышал отголоски своего отчаяния. И чувствовал, что силы его на исходе. Значит, и в Маниксе жил этот инстинкт — не страх перед физическим страданием, не тот ужас, что обуял их на залитой кровью поляне, а нечто другое — атавистический голос, который вновь приказывал им: *ты должен.* Как глупо было думать, будто у них есть своя философия; она оказалась хлипкой, как карточный домик, и этот голос, гудящий в мозгу, — *ты должен* — превратил ее в прах. Они были беспомощны, как дети. Та бесконечно далекая война осквернила их ум навеки. Шесть лет они провели в блаженных снах о мире, чтобы проснуться в холодном поту, понять, что они по-прежнему солдаты, и подчиниться прежним

приказам. Солдаты. Даже если они не молоды. Банковские служащие, торговцы, юристы. Даже если они устали сверх меры, как сейчас. *Ты должен* пройти пятьдесят восемь километров — и заглушить этот голос они так же не могли, как не могли превратиться в русалок. Калвер боялся, что не пройдет, и знал теперь, что Маникс тоже боится; одного он не знал — презирать себя или ненавидеть за то, что этот страх борется в нем с крохотной, еле теплящейся гордостью.

Маникс поднял глаза от ботинка и поглядел на полковника.

— Да, черт возьми, все правильно. Пройдем, — сказал он, — и вся моя рота пройдет, даже если мне придется тащить их волоком. — В голосе его были нотки, которых Калвер никогда прежде не слышал.

Вдруг в тишине раздался монотонный голос полковника:

— Ну что ж, Билли, давайте подыматься.

— Батальон, стройсь! — Команда майора, нетерпеливая и пронзительная, многократно повторяясь, прокатилась по дороге.

— Кончай курить! — Синее облако растворилось в воздухе, рой мошкары ринулся вниз. — Стройся, стройся, — неслось по цепи, и батальон

поднимался на ноги — не разом, а мерной, неторопливой волной, как поднимается после порыва ветра пшеница. Маникс выпрямился и, взбивая пыль, стал боком съезжать с насыпи к своей роте. Рота стояла в голове колонны, прямо позади штаба. Калвер тоже стал спускаться и еще на полпути услышал команду Маникса. Она звучала властно и намеренно грубо:

— А ну, строиться, штабная рота, строиться! Поднимайте задницы, живо!

Калвер прошел мимо него, направляясь к голове колонны. Маникс, окруженный тучами мошкары, высился над всей ротой. Уперев руки в бока, наклонившись вперед всем телом, он подгонял, подхлестывал людей, словно какой-нибудь бешеный генерал времен Гражданской войны.

— Сегодня вы должны пройти пятьдесят восемь километров. Пройти, а не проехать — понятно? Первому, кто сойдет с дороги, — пятнадцать нарядов вне очереди. Поблажек никому не будет. А если кто думает, что я шучу, — пусть попробует. Тут будут грузовики для тех, кто очень переутомится, так вот — чтоб духу вашего там не было! Я старше вас, и мяса на мне побольше, и раз уж я выдержу, то вам сам Бог велел…

В его голосе слышалось что-то похожее на от-

чаяние. И пока Калвер шел вдоль цепи грязных, угрюмых людей, ничем уже не похожих на солдат легендарной морской пехоты, голос звенел все надрывнее, все неистовее, голос не командира, призывающего выполнить обычное задание, но человека, одержимого одной мыслью — выдержать.

— И смотрите не придуривайтесь! Воду беречь. Ногу стер, подвернул — иди к санитару, ко мне не суйся. Когда придем, я хочу, чтоб вы все были в строю.

Не потому, что он видит в марше пользу или смысл, думал Калвер, а потому, что хочет одержать моральную победу, словно кандальник, который переносит побои без единого стона — лишь бы досадить мучителю. Присоединившись к офицерам, он услышал, как полковник сказал майору:

— Что ж, Билли, штабная рота en masse[1] как будто бы справится.

Этого и боялся Калвер: сами по себе слова были благожелательны, зато глаза полковника смотрели на Маникса пронзительно и испытующе, как будто и он уловил в голосе капитана интона-

---

[1] Примечания: 1
В целом *(фр.)*.

цию высокомерного, непокорного подчинения — бунта навыворот; но произнес он эти слова без выражения и тут же отвернулся, глянул на часы и добавил:

— Давайте двигаться, Билли.

Они двинулись не мешкая. Впереди поехал джип с зажженными фарами. Полковник с майором, а следом за ними Калвер зашагали по пыльной дороге. Полковник шел по-спортивному, почти не сгибая ног, подняв плечи, мерно двигая согнутыми руками; ничто не нарушало ритма его шагов — ни рытвины, ни глубокие колеи, — и Калвер был поражен, даже напуган темпом, который он задал. Это был шаг опытного пехотинца — решительный, ровный, скорее даже рысь, чем шаг, — и через несколько минут Калвер стал задыхаться. Ноги вязли в рыхлом песке. Он прошел метров двести, не больше, а подмышки у него уже взмокли и пот струился по лбу. Его охватило смятение, бессмысленный страх. Он и раньше боялся марша, но тогда страх был смутным, абстрактным, теперь же, устав буквально от первых шагов, он почувствовал, что не выдержит и часа, — Маникс был прав. От страха кровь бросилась ему в лицо, он судорожно вздохнул, едва сдерживая крик, — кровь отхлынула.

Мозг ощупью искал причину, страх отступал; он понял — надо втянуться в ходьбу, и все будет в порядке. Паника прошла, он почувствовал, что дышит свободнее. Полковник вышагивал впереди с уверенностью заводного солдатика. Сквозь собственное дыхание Калвер услышал его голос, такой спокойный, ровный, как будто полковник сидел за письменным столом.

— Мы выступили ровно в девять, Билли. К десяти мы должны быть у шоссе и сделать остановку.

— Так точно, сэр, — ответил майор, — еще раньше придем.

Калвер подсчитал: по штабной карте, которую он знал наизусть, расстояние было пять с половиной километров — на полтора километра больше, чем полагалось по уставу для часового перехода. Это скорей походило на бег. С трудом выдергивая ноги из песка, он ощутил безысходность такую головокружительную, что даже развеселился; он услышал между своими шумными вдохами странный звук — не то смешок, не то всхлипывание. Пять с половиной километров — путь от Гринич-Виллидж чуть ли не до Гарлема, утомительный даже на машине. Он измерял в уме эту бесконечную вереницу городских кварталов. Он

мысленно брел по надежным, твердым мостовым Пятой авеню, переходил Четырнадцатую улицу, унылые просеки Двадцатых и Тридцатых; в боку у него как будто нож поворачивался, но он все шагал и шагал: на север, мимо библиотеки, еще двадцать кварталов, мимо отеля «Плаза», и дальше — по зеленым лужайкам Центрального парка… Мысль остановилась. Пять с половиной километров. А за ними — еще пятьдесят два. Перед мысленным взором возникла фигура Маникса. Калвер спотыкался, смотрел в безжалостную спину полковника и думал: «Господи, спаси и помилуй».

Они спешили. Ночь спустилась внезапно, как в тропиках; теперь, когда они шли по заболоченному лесу, им светили только фары джипа. Дыхание у Калвера наладилось, но грудь и спина были мокры от пота, и ему хотелось пить. Он испытывал смутное удовлетворение от того, что остальным не легче: он слышал, как сзади из чехлов выдергивались фляги, звякали крышки и задушенно, жадно булькала в чьем-то горле вода; потом донесся сердитый окрик Маникса:

— Отставить, черт возьми! Сказано: берегите воду! Убрать фляги к черту, пока не станем на привал.

Калвер выворачивал шею, пытаясь разглядеть Маникса, но видел лишь тени солдат, бредущих по песку, — неясную двойную цепочку, исчезающую в черном зеве ночи. Сзади что-то крикнул солдат — пошутил, должно быть, — раздался смех, долетел отрывок песни «На старой вершине, оде-етой туманом…». И снова все звуки перекрыл сердитый голос Маникса:

— Можете горланить сколько влезет, но лучше поберегите дыхание. Мне наплевать — болтайте хоть всю дорогу, но если выдохнетесь, пеняйте на себя…

Его голос стал отрывистым и злобным — так командовали, наверно, древние сатрапы и надсмотрщики на галерах. Голос был словно колючая проволока, он жалил, хлестал людей, как кнут, и хотя пение и разговоры сразу смолкли, Маникс не унимался. А ведь не прошло еще и часа с начала марша. Калвера охватила досада, ему захотелось вернуться назад и утихомирить Маникса.

— А ну подтянитесь, задние! Ши, ты куда смотришь, черт возьми, заставь их сомкнуться! Они отстают, им придется бегом догонять! Слышите, подтянуться, черт возьми! Тебе говорят, Томпсон, ты что, оглох, черт бы тебя взял! Подтянуться, говорю!

Этот голос, грубый и яростный, сопровождал Калвера всю дорогу. И из всей дороги именно первые часы запомнились ему как самые кошмарные, хотя конец принес более изощренные мучения. Калвер объяснял это тем, что вначале ум еще более или менее служил ему и духовные страдания были так же остры, как физические. Потом мозг выключился, все вокруг происходило само по себе, почти не затрагивая сознания. И еще в первые часы над ним тяготело присутствие Маникса. К больной игре воображения, к злости и отчаянию (да и к редким минутам просветления, когда Калвер мог рассуждать спокойно) примешивалось еще и то, что он все отчетливее видел перемену, происходившую с капитаном. Позже поступки Маникса смешались у него в голове, стали частью общего кошмара. Но вначале Калвер достаточно ясно воспринимал мир превращение Маникса открылось ему отчетливо и внезапно (и холодом обдало предчувствие Судного дня) — так человек, вдруг обернувшись посреди разговора к зеркалу, видит рядом с собой не старого друга, а оборотня — чужое, жуткое лицо проступает в стекле.

Они подошли к шоссе ровно в десять. Полковник, посмотрев на часы, остановился, майор

поднял руку и крикнул: «Перекур! Десять минут!» Калвер сошел с дороги и опустился в траву. Кровь стучала в висках, билась в глазницах, жажда была такая, что он, забью обо всем, выпил треть фляги. Он закурил сигарету и тут же отшвырнул — она отдавала медью. Его ноги одеревенели от усталости. Он медленно вытянул их в росистой траве и посмотрел на тихое звездное небо. Потом обернулся. По дороге, шагая через ноги и винтовки, двигалась фигура. Это был Маникс. Он остановился над Калвером и сел, не переставая бормотать:

— Сукины дети, ни за что не идут вместе. Все время нужно на них гавкать. Им придется всю дорогу бежать, чтобы догнать передних. Дай закурить.

Он тяжело дышал и стирал пот со лба тыльной стороной руки.

— Оставь ты их в покое, — сказал Калвер, протягивая ему сигареты.

Маникс закурил и, закашлявшись, выдохнул дым.

— Черт, — буркнул он, кашляя, — нельзя их оставить в покое. Не желают идти. Только и думают, как бы отвалить в сторонку, чтобы их грузовик подобрал. Пятнадцать нарядов их боль-

ше устраивают. Резервисты они, понимаешь? Им плевать, перед кем они позорятся — передо мной, перед кем угодно…

Со вздохом он повалился на траву и прикрыл глаза руками.

— …твою мать, — сказал он.

Калвер смотрел на него сверху вниз. Желтый свет фары косо упал на его подбородок Угол рта у него кривился, словно он сосал что-то кислое. Он лежал измученный, обессилевший, но видно было — даже сейчас, во время отдыха, — что он никогда не признается в этом. Он стиснул зубы. Казалось, его ярость и неистовство помогали ему, как Атланту, нести бремя его усталости.

— Господи, — пробормотал он вдруг, — целый день не могу забыть про этих ребят — как они лежали на опушке.

Калвер не шевелился — он тоже вспомнил. Потом он посмотрел на часы, и сердце у него упало: шесть минут из десяти прошли так быстро, как будто их и не было. Он сказал:

— Слушай, Эл, а почему они должны идти? Если бы тебя мурыжили, как этих рядовых, ты бы захотел идти, не плюнул бы на все? Перестань ты их подгонять. Скажи по-честному: тебе разве не все равно, дойдут они или нет? Сам ты — другое

дело. Или я. Но остальные… Какого черта? — Он замолчал, подыскивая слова, потом слабо повторил: — Не все ли тебе равно?

Маникс приподнялся на локтях.

— Нет. Не все равно, — сказал он внятно.

Они оглянулись на полковника, стоявшего неподалеку. Полковник и майор, державший фонарь, склонились над картой. Маникс откашлялся, сплюнул. Овладев наконец голосом, он сказал:

— Видишь, сморчок стоит? Думает, что устроил нам баню. Пятьдесят восемь километров! В Штатах никто столько не проходил. Никто. Мы не проходили столько даже с Эдсоном в ту войну. А он себе имя хочет сделать — Темплтон, Каменный Старик Инициатор самого большого маршброска в истории морской пехоты…

— Но… — начал было Калвер.

— Он в восторге будет, если штабная рота окажется дерьмом, — продолжал Маникс, — в восторге. Это польстит его самолюбию. Теперь я его насквозь вижу. — И, кисло усмехнувшись, он повысил голос: — Что, капитан Маникс, вчера у вас, кажется, не все шло гладко? Чуть побольше

esprit[2] вашим людям не помешало бы, а? — Голос его понизился, но по-прежнему был полон яда. — Ну так… ему. Я приведу мою роту, даже если придется тащить их на горбу, слышишь?

Спорить с ним было бесполезно. Калвер молчал, дожидаясь, пока он даст излиться своей ненависти и желчи. И как только Маникс кончил и перевернулся на спину, снова раздался крик: «Стройся! Стройся!» Они двинулись дальше. Теперь песок не мешал — три километра им предстояло пройти по шоссе до следующего поворота на проселок Короткая передышка не принесла облегчения Калверу: ноги стали чужими, гудели, он шел сгорбившись, подавшись вперед словно старый подагрик, и снова потел, снова, не пройдя и ста шагов, изнывал от жажды. Каким чудом, подумал он, взглянув на мирное звездное небо, каким чудом мы продержимся до утра, почти до полудня? Мимо пронесся длинный автомобиль — на Север, к городскому веселью, может быть, даже в Нью-Йорк; он пробежал легко, почти неслышно, красные хвостовые огни ужалили мрак, ночь сомкнулась за ним, и Калвер еще острее ощутил свою оторванность от нормальной человеческой

---

[2] Примечания: 2
Дух (фр.).

жизни. Он шагал сейчас среди теней, пришельцев из иного мира, и люди в машине, укутанные дремой и тьмой, промчались и не увидели их, как не видят пассажиры на пароходе рыбьих боев, кипящих в черном безмолвии океанской пучины.

Они шли и шли. Полковник по-прежнему шагал впереди, но уже медленнее, и у Калвера мелькнула отчаянная надежда — а вдруг он устал? Мысли диким хороводом закружились в его мозгу: ведь рано или поздно Темплтон должен устать, выбиться из сил, вдруг он переоценил себя и через час или два остановит колонну и посадит людей на машины, словно строгий отец, который едва приступит к наказанию, как жалость или раскаяние удерживает его руку. Но Калвер знал, что это пустая надежда. Они неуклонно шли вперед — мимо темных сосновых рощ, полей, залитых густым ароматом ковыля и земляники, мимо заколоченных домов и ветхих брошенных лавчонок. Но скоро и эти следы цивилизации остались позади — и уже навсегда, потому что батальон опять свернул на песчаный проселок. Калвер снова обливался потом, но не он один — даже у полковника на чистых брюках выступил под поясом темный треугольник Калвер слышал свое хриплое дыхание, прежний страх возвращался

к нему: он ни за что не выдержит, сойдет на обочину. Это неминуемо, он слишком стар. Но тут в ночи загромыхал голос Маникса: «Эй, задние, подтянитесь, черт вас дери! Мы опять на песке! Шевелите ногами, подтягивайтесь! Подтягивайтесь, говорю! Лидбетер, у тебя что«, слиплась? Сомкнуться! Сомкнуться, говорю!» Эти крики подстегнули и Калвера, но он услышал, как в ответ на них раздался слабый многоголосый стон, угрюмое ворчание. Ропот доносился лишь из роты Маникса, стон Калвера вторил ему, и Калвер сам не знал, что выражает этот стон — ярость, отчаяние или страх перед судьбой. Он плелся за полковником, словно овца на бойню за вожаком — тупая и покорная, слишком испуганная, чтобы негодовать или ненавидеть. К исходу второго часа — еще четырех с половиной километров — Калвер всхлипывал от изнеможения. Он повалился в траву, чувствуя, что одна нога уже стерта и горит, будто кожу срезало бритвой.

Маниксу было не лучше. На этот раз он подошел, хромая. Он молча сел и снял ботинок Калвер, жадно припав к фляге, следил за ним краем глаза. Оба они так запыхались, что не могли ни курить, ни разговаривать. Они лежали около какого-то русла — не то канала, не то ручья; шары купаль-

ницы призрачно светились среди косматого мха, тьма наливалась тяжелой вонью, но не гнилого болота, сообразил Калвер, а от ноги Маникса.

— Смотри, — вдруг буркнул Маникс и зажег фонарь. — Гвоздь прямо в пятке у меня сидит.

Калвер увидел на пятке маленькую кровоточащую ямку, воспаленную по краям и окруженную белым тестом — остатками содранного пластыря.

— Как я с ним дойду, не знаю, — сказал Маникс.

— Попробуй еще раз забить гвоздь.

— Я пробовал — все равно вылезает. Хоть на части разбирай этот башмак.

— А если подложить тряпку, кусок от рубашки?

— Тоже пробовал — нога подворачивается. Это еще хуже, чем гвоздь. — Он помолчал. — Господи, твоя воля.

— Слушай-ка, — сказал Калвер, — отрежь кусок от ремня и подложи.

Они резали, примеряли, перебрасывались отрывистыми словами и оба не заметили полковника, который подошел к ним и темноте и теперь стоял рядом.

— В чем дело, капитан? — спросил он. Вздрог-

нув, оба подняли головы. Он спокойно стоял над ними, по обыкновению (а Калверу хотелось сказать: «заученным жестом») засунув большие пальцы за пояс. Лицо его было багровым от напряжения, все еще мокрым от пота, но в общем казалось, он устал не больше, чем если бы пробежал несколько шагов к отходящему автобусу. В углах его рта пряталась легкая усмешка. И опять она была не самодовольной и не высокомерной, а скорее доброжелательной; опять его тонкие, нервные, почти прозрачные пальцы и лицо, багровое в резком свете фонаря, делали его похожим не на солдата, а на священника, в котором страсть и вера слились в чистейший сплав благих намерений; поднявшись над мелочной злобой и хитростью, он вел батальон к спасению, и в его улыбке и заботливых словах сквозило сдержанное сочувствие.

— У меня гвоздь в ботинке, — ответил Маникс.

Полковник присел и стал рассматривать ногу Маникса, бережно придерживая ее пальцами. Маникса так и передернуло от этого прикосновения.

— Плохо дело, — сказал полковник, помолчав, — вы показались санитару?

— Нет, сэр, — напряженно произнес Маникс. —

Вряд ли он чем-нибудь поможет. Разве что достанет другие ботинки.

Полковник размышлял, потирая одной рукой подбородок, а другой все еще придерживая ногу капитана. Его взгляд искал чего-то в болотистой равнине, припорошенной серебряным светом восходящей луны. Вопили лягушки среди темных кипарисов, на прогалинах и совсем рядом, у дороги и в стоячей воде канала, вдоль которого плясали, вспыхивая и угасая, огоньки — сигареты в невидимых пальцах невидимых измученных людей.

— Так, — сказал наконец полковник, — так — И молк Очередной этюд: нерешительность перед решением, раздумье. — Так, — повторил он и опять умолк Раздумье. В этот миг и жажду, и усталость Калвера, и тупое отчаяние захлестнула волна ненависти; он почувствовал, что нет и не было на свете человека отвратительнее, чем полковник. Злоба его возросла еще больше, когда он понял, что ненавидит не самого Темплтона с его безвредным чванством и хитрым взглядом — не этого человечка, который тщится создать впечатление глубокой и тайной мудрости, а Полковника, морского пехотинца. Ненавидит не из-за себя и не из-за этого бессмысленно жестоко-

го марша. Бывали испытания и похуже — сейчас по крайней мере они шли по мирной местности, не под пулями. За идиотский, противоестественный жест ненавидел его Калвер: он, кого армия обкатала настолько, что ему не под силу было совершить самый простой человеческий поступок, оставаясь при этом естественным, он сидел на корточках и с почти непристойной нежностью гладил ногу Маникса. И, верно, толстая была у него кожа, если он не понимал, что среди бессмысленного надругательства, которому он сам же был виной, этот жест, столь обнаженный в своей человечности, это прикосновение станет для Маникса злейшей пыткой. Потом он заговорил. Калвер знал, что он скажет. Ждал этих безобразных слов.

— Так, — сказал полковник, — пожалуй, вам лучше сесть на грузовик.

Если раньше была хоть малейшая надежда, что Маникс согласится сесть в машину, теперь она исчезла. Маникс отдернул ногу, как будто ладонь полковника жгла или разъедала ее.

— Нет, сэр! — сказал он резко, слишком резко, уже не в силах скрыть враждебность. — Нет, сэр! Я не сойду в этой вшивой гонке.

Он яростно стал напяливать ботинок. Полков-

ник поднялся на ноги, засунул большие пальцы за ремень и безразлично поглядел на него сверху.

— Думаю, что вам придется пожалеть об этом, — уронил он, — из-за вашей ноги.

Капитан встал и заковылял к своей роте, харкнув через плечо свинцовым плевком слов, от которых глаза у полковника чуть не выкатились из орбит. Он объявил войну.

— Кому интересно, что вы думаете?... — сказал он.

4

Если полковник и помышлял о каре, то решил ее отложить, потому что в четверть пятого, когда зеленый свет зари разлился по небу, Калвер опять услышал злой и хриплый голос Маникса, подгонявшего солдат. Он потерял Маникса из виду несколько часов назад. Что же до полковника, то разнесся слух, будто он уже не ведет колонну, а находится где-то в хвосте. В сумеречном сознании Калвера блеснула надежда: если полковник выдохся и сидит где-то в своем джипе, то у них по крайней мере будет то утешение, что командира они победили. Но он знал, что это зыбкая надежда. Полковник вернется и опять будет вести их за собой. Этот гад даст сто очков вперед таким, как он или как Маникс со всем его неистовством.

Колонна расстроилась и растянулась, но ходу не убавила. Калвер от усталости, жажды и боли в стертой ноге отставал все больше и больше. Временами ему удавалось сократить разрыв, один раз он даже догнал штабную роту, но ему уже все было безразлично. Он был один — наедине с ночью, болью, жаждой и изнеможением, гасившим всякий проблеск мысли.

Рядом проревел грузовик, нагруженный оцепенелыми, бесчувственными телами. Проехал еще один и еще — так продолжалось всю ночь. А далеко впереди спустя долгое время после того, как проезжал грузовик, слышался крик Маникса:

— Кати отсюда! Мы идем на своих двоих!

Они брели сквозь ночь, остекленевшими глазами вперясь в землю, — расхлыстанная толпа людей, насквозь промокших от пота. После полуночи Калвер почувствовал, что ум его справляется лишь с самыми непосредственными впечатлениями, да и те, отрывочные и бессвязные, крутятся в дикой чехарде, словно фильм, смонтированный идиотом. Из памяти выпало все, кроме вчерашнего дня; ни о чем отдаленном он думать не мог, даже о доме. Конец марша представлялся ему несбыточной, бредовой мечтой, все душевные силы были обращены на одно: выдержать ближайший час, дожить до блаженства — десятиминутного отдыха и глотка теплой воды. Лишь одна картина преследовала его неотступно — кровавый кошмар, раскромсанные тела, трупы… где он видел их? когда? неделю, год назад? при свете какого допотопного солнца? Сколько он ни пытался отвлечь воображение какой-нибудь мирной сценой — домом, музыкой

перед сном, — все заслоняло это видение: растерзанный подросток с дремотой в глазах, кровь, полдень, зной.

На следующем привале — шестом или седьмом, восьмом (Калвер давно потерял им счет) — он увидел Маникса, который лежал позади своей роты, возле прицепленной к джипу водяной цистерны. Рядом валялся О'Лири, и дыхание со стоном и свистом вырывалось из его горла. Калвер кряхтя опустился между ними и тронул Маникса за руку. Малярийно-зеленый свет зари лежал на его лице, искаженном болью. Глаза его были закрыты.

— Как дела, Эл? — сказал Калвер, протягивая флягу к крану цистерны.

— Нормально, — выдохнул тот, — нога только, будь она неладна. А ты как? — Голос у него был вялый.

Калвер посмотрел на его ногу: ботинок был снят, и носок сочился темной кровью, как ламповый фитиль.

— Садись в машину, Эл, — сказал Калвер, — ради Христа.

— Гвоздя уже нет. Увел наконец плоскогубцы у какого-то радиста. Потом догонял как полоумный.

— Все равно, — начал Калвер. Но Маникс его не слушал. У дороги отдыхали солдаты его роты. Почти все валялись в траве неподвижно, как мертвые; лишь немногие сидели, тяжело опершись на винтовки, курили и пили воду; тихое злое ворчание слышалось среди них. У тех, кто сидел поблизости, на лицах можно было прочесть муку и безмолвное негодование. Казалось, они ищут глазами капитана, виновника их бед. Это были лица рабов, похоронивших всякую надежду на избавление. В траве тяжелое дыхание Маникса мешалось с прерывистым храпом О'Ли-ри, который уснул мертвым сном.

Снова начиналась жара. Никто не разговаривал. Внезапно рассвет наполнился грохотом, тела у дороги зашевелились, головы повернулись туда, откуда с ревом катилось на них облако пыли. Из пыли возникла грузовая машина. Громыхая, она проехала мимо и остановилась посреди роты.

— Кто тут готов? — раздался голос — Могу взять еще десяток.

В роте началось движение: пятеро или шестеро, сидевших неподалеку, поднялись и, закинув винтовки за плечи, заковыляли к грузовику. Калвер напряженно следил за ними и слышал, как рядом возится Маникс, натягивая башмак

О'Лири проснулся и сел. Все трое смотрели на процессию, тянувшуюся к грузовику: колченогие люди, жалкие и беспомощные, словно скот, гонимый овчарками, брели к маячившему в дымке экипажу — огромному, зеленому, чьи колеса сулили им свободу, сон, забвение. Маникс следил за ними отсутствующим воспаленным взглядом; казалось, он так отупел от усталости, что уже не в силах понять происходящее.

— Куда делся полковник? — рассеянно спросил он.

— Уехал на джипе часа два назад, — ответил О'Лири, — сказал вроде, что хочет проверить колонну на марше.

— Что? — спросил Маникс.

И опять казалось, что он ничего не понял; как будто и этот ответ, и скорбное шествие солдат к грузовику не сразу отпечатались в его мозгу, а медленно просачивались сквозь толстый слой войлока.

Еще человек десять поднялись и захромали к машине. Маникс смотрел на них моргая.

— Что? — повторил он.

— Проверить колонну, сэр, — повторил О'Лири. — Он так сказал.

— Сказал? — Маникс сердито повернулся к

сержанту: — Кто же ведет колонну?

— Майор Лоуренс.

— Майор? — Маникс тяжело, неуклюже поднялся на ноги, боясь наступить на больную пятку — он стоял на пальцах и с трудом удерживал равновесие. Он моргая вглядывался в смутные очертания грузовика, возле которого копошились солдаты и медленно карабкались в кузов.

Калвер смотрел на него снизу и думал что он похож на большого загнанного медведя, разъяренного, окровавленного, побежденного не силой, а хитростью. Он кусал губы — может быть, от боли, но скорее от бессильной ярости, и, когда он заговорил, в голосе его слышалась скорбь; казалось, он вот-вот заплачет.

— Он смылся! Смылся!

Внезапно, как разбуженный лунатик, Маникс вернулся к жизни. Он ринулся вперед с диким ревом:

— Эй вы, слезайте к черту с машины!

Одним махом он выскочил на дорогу и уродливо запрыгал в пыли, вихляясь, волоча больную ногу, неистово размахивая руками. Казалось, он беспомощен, как инвалид, прикованный к коляске, его нелепые скачки выглядели бы смешно, не будь в них такой угрозы и страдания.

— Вон из машины, будьте вы прокляты. Вон из машины! Строиться! Строиться, говорю! — орал он. — Слезайте, живо! Слезайте к черту с машины, пока я не дал вам коленкой под…

Его крик вселил в них ужас: долгий испуганный стон повис в воздухе, как будто порожденный самим рассветом. В кузове началась суета, солдаты посыпались вниз, покидая грузовик, как крысы — тонущую баржу.

— Вали отсюда! — заорал он, выпучив глаза, тощему капралу-шоферу, и тот испуганно нырнул в кабину. — Убери свою колымагу!

Грузовик взревел, прыгнул, исчез в смерче пыли и синего дыма. Капитан, скособочась, стоял посреди дороги и махал руками, как ветряная мельница.

— А ну, строиться! Другие пусть смываются, но не вы — слышите? Вы слышите? Понятно или нет, черт возьми? Ши, гони людей на дорогу! Вам осталось пройти еще Двадцать девять километров, и зарубите это себе на носу…

Калвер попробовал остановить его, но солдаты уже бежали.

Они были в отчаянии, на грани бунта, но страх перед Маниксом гнал их, и они бежали на запад, бежали панически, забыв о стертых до крови

ногах и усталости. Вдогонку им лился свет нового душного дня Шел и Калвер; рядом с ним сосредоточенно пыхтел О'Лири, сзади мерно топали остатки батальона. Пыль взвивалась впереди столпом облачным, как в пустыне Египетской, тяжко сушила воздух. Она садилась на губы и потные лбы, покрывая их белой коркой, затвердевала, как гипс, и, словно изморозь среди летнего зноя, обволакивала губительной бледностью пустые поля, деревья кустарник Солнце поднималось все выше, палило спины, и людям казалось, что за плечами у них не мешки, а печи, которые раскаляются все больше и больше по мере того, как солнце выползает из-за спасительной стены деревьев. Они уже не старались ступать полегче, не берегли разбитых ног, а топали по земле с тяжелым упорством потерявших управление роботов. У них, должно быть, как и у Калвера, давно пропало ощущение ходьбы — осталась лишь пульсирующая боль в ногах, боль от ссадин и волдырей, бунт измочаленных, досуха выжатых мускулов.

Однажды Калвера обогнал полковник на джипе. В клубах пыли мелькнуло его лицо — потное и усталое, вовсе не отдохнувшее, и Калвер подумал, что Маникс, может быть, напрасно ярился

и обвинял его в дезертирстве. Пусть полковник и не вел колонну, кто его знает, он мог идти где-нибудь сзади, — и словно в ответ на эти мысли Калвер услышал измученный голос О'Лири:

— Очень уж взъелся на полковника наш капитан Маникс. — Голос умолк, слышалось только свистящее дыхание. — Не знаю, может, зря он… Старый полковник просто так не сел бы в машину. Он хоть и строг порой, но солдат своих не бросит.

Калвер не ответил. В душе он проклинал сержанта. Как можно быть таким болваном? Как можно, погибая в муках, найти лишь слова покорности и почтения, чуть ли не восторга перед изобретателем этой дикой казни? Только человек, намертво приросший к военной машине, мог не усомниться сейчас и сказать то, что сказал О'Лири, — и все же… И все же, Бог его знает, устало подумал Калвер, вдруг он прав, а капитан, и сам я, и все остальные ничего не понимаем? Мысли его мешались. Поднятая джипом пыль подплыла и забилась в легкие. Зачем же Маникс закручивает гайки? Калверу захотелось подбежать к нему — каких бы усилий это ни стоило, — отвести его в сторону и сказать: *Кончай, кончай, Эл, ты все равно проиграл.* Ни буйство, ни гордость, ни

терпение — ничто не поможет. Он лишь калечит себя в этом хлыстовском и бессмысленном бунте: кем бы ни был полковник — трусом и деспотом или твердым честным командиром, все равно он одержал верх, одолел и подмял Маникса. И Маникс сделал худшее, что он мог сделать, усугубив неизбежное (так казалось Калверу) несчастье своим ожесточением. *Оставь их хотя бы в покое — им и без того хватает!* Но мысли путались. Почки болели так, будто по ним били молотком, и Калвер шел согнувшись, прижав к пояснице ладони — как расхаживает профессор на лекции, спрятав руки под фалдами сюртука.

Сейчас он почувствовал, что стало невыносимо жарко, жара подогревала закипавшую в нем ярость. Ночью холод приносил облегчение, потели они от самой ходьбы, но сейчас утреннее солнце резало его тысячей бритв, и физическая боль переросла в ощущение краха. Калвер вдруг понял, что движет им не его свободная воля, что он как человек не выдержал испытания, не смог сказать «к черту», не вышел из колонны; У него не хватило мужества отречься от гордости и терпения, сбросить свой крест и тем объявить о своем презрении к маршу, к полковнику, ко всей проклятой морской пехоте. Нет, он не настолько

был человеком, и еще меньше — свободным человеком; он был всего-навсего морским пехотинцем, как Маникс и многие другие, — все они были морскими пехотинцами, всю свою жизнь, и навсегда останутся ими, и от отчаяния при этой мысли Калвер чуть не заплакал. И Маникс? Он содрогнулся. Да, в глубине души Маникс тоже был солдатом — настолько, что в любой миг мог превратиться в маньяка. Порча пошла с ног, на строевой, много лет назад, но она ползла все выше и незаметно добралась до мозга. Калвер всхлипывал от возмущения и обиды за себя. Солнце хлестало его по спине. Сознание его гасло в лихорадочном сумраке, ловя мелькающие, слепленные кое-как ребусы внешнего мира: голос Маникса далеко впереди, теперь хриплый и прерывающийся; долгие мгновения тишины, стоянки, безветрие над полями и, наконец, канава на привале, в которой он валялся и бредил ярмарочным шатром, где продавали лед из бочек — колотый, битый лед, пиленный кубиками и пластинами, лед всех форм и размеров. Его разбудил все тот же страшный крик «Стройся, стройся!» И он снова шел. Солнце поднималось выше и выше. О'Лири упал со стоном и исчез позади. Проехали два грузовика, в которых лежали

тела в зеленом, оцепенелые, как трупы. Фляга оторвалась от пояса — неизвестно, где и когда, — но Калвер с удивлением чувствовал, что больше не потеет и не хочет пить. Это опасно, вспомнил он из какой-то лекции, но в ту минуту молодой солдат, которого рвало у обочины, был для него гораздо важнее и интереснее. Он остановился, чтобы помочь, но передумал, пошел дальше — сквозь странный рой бледных, крохотных бабочек, похожих на обесцвеченные лепестки, медленно кружившиеся над пыльной дорогой. Потом радист Хоббс проехал на джипе с длинной антенной; он смеялся, дразнил солдат песней «Штаны на мне тлеют» и весело махал им толстой рукой. Над распаренным лесом взвилась алая танагра, кругами взлетела ввысь, спустилась и села на дальнем лугу; на какой-то страшный миг Калверу померещилось, что там рядком лежат восемь искромсанных трупов и по траве течет кровь. Но видение исчезло. Конечно, это было вчера, сообразил он. Вчера ли? Тогда он начал вспоминать имя Хоббса, вспоминал несколько минут, но не вспомнил; посмотрел на часы и, обнаружив без всякой радости и удивления, что скоро девять, стал методически заводить их; потом он поднял глаза и увидел на обочине

огромную фигуру Маникса.

— Вставай, — говорил Маникс. Голос у него был сорван, из горла выходил только скрип, шепот. — Поднимай задницу. Вставай, говорю.

Калвер остановился. В траве лежал солдат — толстый, обросший трехдневной щетиной. На его разутой, задранной кверху ноге вздувался волдырь, большой и мертвенно серый, как поганка; солдат бережно снял с него лоскут кожи, под которым открылось огромное пятно нежного, девственно розового мяса. Голос у солдата был деревенский, терпеливый:

— Не могу я больше идти с таким волдырем. Не могу, капитан, и все тут.

— Можешь, будь ты проклят, — сипел Маникс. — Я пятнадцать километров шел с гвоздем в ноге. Я шел — и ты сможешь. Вставай, говорю. Ты — солдат…

— Капитан, — мирно отвечал тот, — я же не виноват, что у вас гвоздь в сапоге. Я, может, и солдат и еще кто, но не дурак же я полоумный…

Капитан наступил на больную ногу и сделал быстрое неловкое движение, словно желая силой поднять солдата; Калвер схватил его за руку и исступленно закричал:

— Кончай, Эл! Кончай! Кончай! Хватит!

Он замолк, встретив тупой бешеный взгляд Маникса.

— Хватит! — сказал он спокойно. — Хватит. — И совсем тихо: — Все, Эл, хватит. Хватит с них.

Конец был близок, Калвер знал это наверняка. Колонна опять остановилась, люди лежали на раскаленной обочине. Он посмотрел на капитана: тот помотал головой и вдруг провел дрожащими пальцами по глазам.

— Ладно, да… да… — пробормотал он бессвязно и горестно, а Калвер почувствовал, что по щекам у него потекли слезы. Он так устал, что только одно мог подумать: бедняга Эл Маникс Проклятие.

— Хватит с них, — повторил он.

Маникс отдернул руку от лица.

— Ладно, — прохрипел он. — Ладно, слышу. Хватит с них. Ладно, я тебя слышу. Пусть садятся. Я прав… делал… — Он замолчал, отвернулся. — К черту все.

Маникс заковылял прочь. Полковник стоял неподалеку, засунув большие пальцы за пояс, и внимательно разглядывал капитана. Сердце у Калвера упало камнем. Бедняга Эл, подумал он. Ты просто не мог победить, старый, добрый, израненный медведище.

Если поражение и надломило его, он все же со-

хранил в себе ту искру жизни, которая позволит ему выстоять до конца, — ярость. Она не позволит сдаться. Так человек, которого гонят сквозь строй, материт и бесит своих палачей и падает лишь в конце шпалеры. Да, Калвер должен был понять это с самого начала — ярость его неодолима; костер, издавна тлевший в его душе, вспыхнул сегодня ночью. Огонь вышел из повиновения несколько часов назад, когда Маникс впервые бросил вызов полковнику, и теперь стало ясно, что в этом огне сгорят они оба. По крайней мере — один из них.

Калвер лежал ничком в траве и сквозь стук крови в висках услышал ледяной голос полковника:

— Капитан Маникс, будьте добры, подойдите сюда на минутку.

Калвер лежал ближе всех к нему. Оставалось пройти еще десять километров. Перекур был продлен до пятнадцати минут, потому что последние километры им предстояло пройти без остановки. Полковник отдал это распоряжение при Калвере.

— Еще одна остановка, — сказал он с кривой усмешкой, — и их никакими силами не поднимешь с земли.

Калвер застонал — очередная выходка сади-

ста, но потом устало подумал, что полковник скорее всего прав. Наверно. Может быть. Кто знает? Он слишком устал, ему было все равно. С перекошенным лицом, зажмурив глаза от боли, к ним приближался Маникс Он двигался довольно быстро, но невыносимо было наблюдать за его чудовищным ковылянием — за жуткими рывками, судорогами тела, тщетно пытавшегося подавить или хотя бы оградить, не затронуть огромные очаги боли. Позади него, на краю дороги, рядами лежали почти все его солдаты и ждали грузовиков. Они поняли, что Маникс смирился, и рухнули. Десять минут он равнодушно собирал тех, кто еще соглашался идти; их набралось меньше трети роты, твердокаменных служак, спортсменов и просто таких же, как Маникс, — готовых идти из одной лишь гордости и упрямства. Из ярости. Это была жалкая колонна, потрепанная и грязная; цепочка зеленых лиц, провалившихся, остекленевших глаз, ртов, разинутых в изнеможении; позади стояли остатки батальона — не больше двухсот человек. Маникс дотащился до полковника и встал — одна нога на носке, руки уперты в бока.

Полковник посмотрел на него пристально и бесстрастно. Маникс был уже не просто усомнив-

шимся, а еретиком, и его ждало наказание. И все же в голосе Темплтона звучала почти родительская снисходительность, когда он медленно и очень тихо, так, чтобы не слышали остальные, сказал капитану:

— Капитан Маникс, я приказываю, чтобы вы сели на грузовик.

— Нет, сэр, — прохрипел Маникс. — Я кончу марш на ногах.

Вид у полковника был измученный, под глазами набухли серые мешки. Казалось, у него нет уже сил, чтобы изобразить обычную свою улыбку; напряженная, сгорбленная поза, согнутые колени выдавали человека со стертыми ногами, и Калвер, испытывая глубокое отчаяние, вынужден был признать, что полковник все же шел вместе с ними — где-то сзади, в хвосте, по причинам, лишь ему одному известным, но шел, — и только Маникс в своей слепоте мог не понять это.

— Черт, — услышал Калвер свой шепот, — если бы только он не шел с нами.

И затем спокойный голос полковника:

— Нет, вы не дойдете с такой ногой.

Калвер посмотрел вниз. Щиколотка капитана вздулась над башмаком рыхлой молочно-пурпурной опухолью, он не смог *бы* наступить на землю

пяткой, даже если бы захотел.

— Вы не дойдете с такой ногой, — повторил полковник.

Маникс тяжело дышал, словно собирая силы для новой схватки. Он и полковник смотрели в глаза друг другу — два темных профиля, выбитых на бастионе сосен и утреннего голубого неба.

— Слушайте, полковник, — просипел он, — вы сами затеяли этот марш, и я буду идти, даже если у меня ни одного солдата не останется. Вы можете смыться на полдороге…

Калвер хотел остановить его — как угодно, любым способом — не потому, что Маникс навлекал на себя беду, а потому, что вся его война не имела смысла. Неужели он не видит, что полковнику она безразлична? Что для него марш не имеет ничего общего ни с мужеством, ни с жертвенностью, ни с гордостью, для него это просто задание, которое надо выполнить, и он кто угодно, но не трус, он шел всю дорогу или большую часть — любому дураку это ясно; он так же далек от соперничества, примитивной войны, которую пытается навязать ему Маникс, как самая далекая, самая холодная звезда. Все это ему безразлично. Калвер напрягся в тяжелом, болезненном усилии, желая подняться, встать

между ними, но Маникс продолжал атаку:

— Вы гоните солдат. Хорошо. Прекрасно. Но почему вы сами смываетесь?...

— Постойте, капитан, — зловеще начал полковник — К вашему сведению...

— Иди ты на... со своими сведениями, — сказал Маникс хриплым, придушенным голосом. Он чуть не рыдал. — Ты думаешь...

Но он не успел кончить, потому что полковник сделал странное, неуловимое движение — это был жест почти по-актерски выверенный, как будто взятый из старого ковбойского фильма: его ладонь скользнула к рукоятке пистолета и настороженно замерла там, а холодный, угрожающий взгляд остановился на капитане. И в этом жесте была такая сила, что перед ней спасовал даже Маникс. Лицо его побелело, как будто до него только сейчас дошел смысл слов, сказанных им так опрометчиво; он стоял, немой и угрюмый, и мигая смотрел на блестящую рукоятку пистолета.

А полковник продолжал:

— К вашему сведению, капитан, не вы один проделали этот марш. Но мне не интересны ваши умозаключения, слышите? Извольте взять себя в руки. Ступайте на свое место. По приходе я запрещаю вам покидать расположение батальона,

понятно? Я предам вас военному суду. Понятно? Вас будут судить за тяжелое нарушение воинской дисциплины. Я добьюсь вашей отправки в Корею. Потрудитесь молчать! Отправляйтесь в свою роту. — Он трясся от гнева, его серые глаза горели благочестивым мщением. — Ступайте в свою роту, — прошептал он. — Ступайте в свою роту!

Затем он повернулся к Маниксу спиной и крикнул майору:

— Пора, Билли, давайте строиться!

Итак, все было кончено — кроме марша. Последние десять километров тянулись до полудня. Маникс брел, припадая на больную ногу, и, оттого что он не мог наступить на пятку, все его тело содрогалось тяжко и непроизвольно, словно в пляске святого Витта. Лицо его свела судорога; когда Калвер мог отвлечься от своей боли настолько, чтобы взглянуть на это лицо, он видел выражение глубокой, почти молитвенной сосредоточенности, обращенные к небу глаза лихорадочно дрожащие губы — агонию которую посторонний счел бы, наверно религиозным экстазом. Искаженное лицо его так же мало походило на человеческое, как страдальческая, раскрашенная маска клоуна; его уродливая поступь, плечи, ходившие ходуном, разболтанные

руки — это все выглядело гнусной пародией на калеку. Полковник и майор давно скрылись из виду, и Калвер с Маниксом шли вдвоем. Когда впереди показалась база, Калвер был уверен, что они не дойдут. Они доковыляли до лагеря. По голым — ни кустика — улицам шли обедать опрятные, подтянутые солдаты, они провожали взглядом растерзанное чудовище — капитана, который, видимо, лишился рассудка и брел, возносясь к небу дикие, безмолвные молитвы. Маникс вдруг остановился и схватил Калвера за руку.

— Что за черт, — прошептал он, — мы дошли.

5

Калвер долго не мог заснуть. Казалось, он уже много часов лежит голый на кровати, но забытье все не приходило; перед закрытыми глазами плыли бесконечные дороги, лесные чащи, луга, палатки, беспорядочно мешались дневной свет и ночь, и с мучительной неотвязностью вновь и вновь вставала одна картина: мертвые мальчики под полуденным солнцем. Как он ни старался, сон все не шел. Тогда он сполз с постели, встал и подтащился к окну; на это ему понадобилась целая минута, и, словно фантомная боль после ампутации, Калвера не покидало ощущение, будто ноги его еще идут, еще топчут пыль бесконечных проселков. Он опустился в кресло и закурил. Внизу миниатюрой безоблачного неба синел бассейн, на поверхности его плясали зайчики, блестящие и круглые, как серебряные монеты. Женщины в купальных костюмах, офицерские жены, стайками плескались в воде или лакомились на лужайке мороженым с фруктами, оглашая воздух благовоспитанным смехом. Было жарко и тихо. За сосновыми лесами, над далеким покоем городов, вспухали дымчатые, зловещие

очертания грозы.

Калвер уронил голову на руки. Да, они свое получили, эти восемь ребят, подумал Калвер, уж это точно. «Утро не тронет — день не слепит»... Ничто им не ведомо. Они и не успели ничего изведать — даже жалости и сострадания, и кто знает, не лучше ли такой конец? Теплый ветерок налетел с реки, принеся с собой аромат нагретой сосны и болота, деревья пошептались и замерли, а Калвер вдруг ощутил лютую сосущую пустоту в груди — голод, тоску о чем-то, чему он не знал названия. Он почувствовал с небывалой остротой, что всю свою жизнь искал чего-то ускользающего, невыразимо прекрасного, как радостный танец девочек на далекой лужайке или тот единственный музыкальный такт, который жил на окраине памяти; чего он искал — безмятежности? мира? — он не мог передать словами, он знал только, что это всегда оставалось недостижимым. И тоска зрела, распускалась в нем, и казалось, что не было минуты в его жизни, когда бы он не маршировал в строю, не давился от одиночества и страха.

Ну что ж, думал он, все они получили свое, и каждый по-своему. Полковник получил свой марш и свою победу, и Калвер никак не мог по-

нять, почему он не вызывает ненависти. Может быть, потому, что полковник был из другой породы людей, настолько чуждой Калверу, что он вообще казался не человеком, а набором понятий и поступков, не поддающихся объяснению, и ненавидеть его было так же бессмысленно, как ненавидеть людоеда за то, что он людоед. Как бы то ни было, свое он получил. А что до Маникса — ну, он-то уж наверняка получил свое, в этом не было сомнения. Старик Эл, с нелепостью подумал Калвер. Где он сейчас, несокрушимый и обездоленный странник, заблудившийся в ночи цивилизованного века, в дебрях нескончаемых войн?

Тоска его утихла, умерла. Он поднял голову и посмотрел в окно. На фоне неба бесстыдным распятием мелькнуло тело ныряльщика и с тяжелым всплеском упало в воду бассейна. Облако закрыло солнце, и тень его омрачила лужайку. Голоса женщин стали тише и мягче, слились. Далеко за деревьями, на горизонте, рос шторм, гремели черные тучи. Позже, на закате, они ринутся к земле, заклубятся над гаснущими просторами вод, набегут на берег, затопят тьмою зелень кипарисов, сосен, пальм, а женщины, что шепчут и играют здесь, беспечные, в легкомыс-

ленных своих костюмах, поднимут к небу вдруг потемневшие глаза и с пронзительным криком помчатся домой, словно пестрые клочки бумаги в порыве ветра, и молодые их голоса утонут во мраке и гуле бури. Одно несомненно, думал Калвер: гроза их не минует. По всему побережью зажгутся штормовые сигналы.

Он вдруг почувствовал палящую, нестерпимую жажду. Он встал, накинул халат и поплелся по коридору к бачку с водой. За углом он увидел голого Маникса, который ковылял по холлу, придерживая на бедрах полотенце. Волосатый, огромный, он медленно, сантиметр за сантиметром, двигался к ванной, цепляясь за стену, и лицо его — стиснутые, сползшие к подбородку губы, зажмуренные глаза — выражало чудовищную, нечеловеческую муку. Лиловая опухоль на его щиколотке была величиной с грейпфрут, и нога волочилась мертвым, бесполезным грузом.

Калвер направился было к нему, чтобы помочь, и уже окликнул его, но тут негритянка-уборщица, которая шла навстречу, размахивая шваброй, тоже увидела Маникса, застыла и оборвала свою песенку.

— Ах ты Боже мой! Бедненький, как же это тебя угораздило? Больно? — сказала она.

Калвер остановился.

— Больно? — повторила она. — Наверно, больно. Еще как!

Маникс смотрел на нее, мигал и молчал. Калвер запомнит эту сцену: двое, разделенные пропастью в несколько шагов, смотрели друг на друга через эту пропасть, и она вдруг исчезла, преодоленная безмолвным, невысказанным состраданием, и черная женщина в очках и яркой косынке повторила: «Еще как». В тот же миг, даже раньше, полотенце медленно сползло с бедер Маникса и с мягким шлепком упало на пол; Маникс стоял, пьяно покачиваясь, цепляясь за стену, исполосованный шрамами, нагой, как в тот день, когда он был исторгнут материнской утробой, и кусок мыла выскальзывал из его слабеющих пальцев. У него не было сил нагнуться и поднять полотенце; он стоял, огромный и голый, в косом предвечернем свете, моргал и улыбался женщине угрюмой, виноватой улыбкой, и в словах его Калвер слышал не жалобу, а откровенность человека, который выдержал, вынес все, слишком устал и ничего уже не мог сказать, кроме правды.

— Еще как, — сказал он.

В заразном бараке

Посвящается Роберту Д. Лумису

Действующие лица

Уоллес Макгрудер, пациент госпиталя.
Шварц, пациент.
Доктор Гланц, уролог.
Линвивер, медбрат.
Капитан Бадвинкель, начальник госпиталя.
Лоренцо Кларк, пациент.
Станцик, пациент.
Дадарио, пациент.
Макдэниел, пациент.
Чакли, пациент.
Капеллан Чаплин.
Помощник капеллана.
Старшина, военный полицейский.

Акт первый
Сцена первая

Лето 1943 года. Все действие проходит в палате военно-морского госпиталя на юге страны. Обстановка несколько отличается от обычной больницы. Посреди сцены стоят два ряда по девять кроватей в каждом ряду. Кровати расставлены так, чтобы публика могла видеть каждую кровать и каждого персонажа. На левом крае сценической площадки — кабинет главного уролога, доктора Гланц а, который управляет отделением из этой наполненной урологическими инструментами и медицинскими книгами комнаты. Справа от этой комнаты, за дверью палаты — стул и рабочий стол санитара первого класса Линвивера, заместителя Гланца и старшего санитара отделения.

В глубине сцены развевается звездно-полосатый флаг.

Действие начинается за несколько минут до половины седьмого утра, времени подъема, когда обитатели палаты еще спят. Шорохи и движение в кроватях. Слышен храп. Кто-то бормочет, сто-

нет: «Солнышко! Солнышко!», как в лихорадке. Линвивер, худой, нескладный, слегка женоподобный моряк в белой летней форме сидит у себя за столом. Он пишет отчет карандашом. Внезапно глядит на часы и встает. Медленно входит в палату, чтобы разбудить пациентов. Он — легкий, веселый человек, его женоподобие достаточно заметно, но не карикатурно.

Линвивер. *(У него приятный певучий голос.)* Итак, встаем, просыпаемся! Поднимаемся и приводим себя в порядок, эй вы, морские котики! Осмотр ваших пистолетов через десять минут.

Раздаются недовольные возгласы. Кто-то садится на кровати и лениво потягивается. Кто-то поднимается и садится на кровать, опираясь на подушки. Один или двое встают и разминаются, одетые, как и все остальные, в нижнее белье цвета хаки.

Только дремлющий негр — очевидно, очень больной — и моряк, который кричал во сне «Солнышко! Солнышко!», лежат практически неподвижно под своими покрывалами, не обращая внимания на команды Линвивера. Один пехотинец, капрал Станцик, недовольно выговаривает свои обиды Линвиверу.

Станцик. *(Манера говорить, как у простого*

докера.) Чтоб тебя, Линвивер!.. Гнида ползучая!

Линвивер *(добродушно).* Поднимайся-поднимайся. Доктор Гланц хочет взглянуть на твой инструмент.

Станцик. Дай мне поспать, педик.

Линвивер *(стучит по кровати рукой).* Я не шучу, Станцик, — доктор Гланц идет сюда вместе со стариной Бадвинкелем. И вы, парни, должны выглядеть безупречно.

Станцик окончательно просыпается. Дадарио, пациент, который стоит рядом, играет мускулами, зевает и реагирует с ленивым сарказмом.

Дадарио. Как может дюжина парней выглядеть безупречно в половине шестого утра, когда их вытаскивают за яйца из кровати?

Линвивер *(сохраняя чувство юмора).* Просто напряги воображение. Подумай о чем-нибудь хорошем. *(Про себя.)* Для меня вы все — красавцы.

Станцик *(выбираясь из постели).* Да… Что же мне такое приснилось…

Линвивер. Не обращай внимания.

Он останавливается перед кроватью пациента, который кричал во сне. Это рядовой матрос лет двадцати с небольшим по имени Чакли — очень худой и изможденный. Он только что проснулся, весь мокрый от пота, и смотрит остекленевшим

взглядом очень больного человека. Линвивер щупает его пульс и вставляет градусник ему в рот, затем делает какие-то пометки на карточке, прикрепленной к спинке кровати. Пока он осматривает больного, пациенты занимаются кто чем: один листает журнал с комиксами, другой разминается, кто-то играет в карты, кто-то включил радио и слушает песню «Don't Fence me In». Два пациента рядом с кроватью Чакли говорят о нем, не смущаясь его присутствием.

Дадарио. Ты слышал Чакли? Ты слышал его, Шварц? Он всю ночь кричал «Солнышко!», «Солнышко!». Это достало меня. Я не мог уснуть. Кого он звал, как думаешь?

Шварц. *(Серьезный еврей в очках, возможно, на несколько лет старше других пациентов, большинству из которых лет двадцать. Он отрывает взгляд от книги?)* Свою сестру. Больше у него никого нет. Ее сбила машина — в Атланте, кажется. Она в очень плохом состоянии. Чакли рассказывал мне о ней на прошлой неделе, до того, как ему стало хуже. Бедный парень.

Дадарио. Они должны держать таких, как он, в отдельной палате. Это было бы лучше и для него, и для нас. Я не могу всю ночь слушать его крики. Это сводит меня с ума.

Шварц *(возвращаясь к книге).* Бедный парень.

Станцик *(к Дадарио).* Дадарио, тебя что больше заводит — жопы или сиськи? Меня, например, жопы. Когда думаю о заднице, в которую можно было бы засадить пару палок, я завожусь по-настоящему.

Дадарио. *(Он бреется электрической бритвой.)* Что касается меня, то меня заводят и жопы, и сиськи, Станцик. Чувство гармонии — вот что нужно миру, если хочешь знать мое мнение.

Линвивер. *(Остановился у кровати чернокожего по имени Лоренцо Кларк. Чернокожий проснулся, но выглядит изможденно.)* Как себя чувствуешь, Лоренцо? У тебя сегодня такой вид, будто сам черт тебе не брат.

Кларк. Приятель, у меня были времена и получше. Каждый день мои яйца все чернее и чернее. Как думаешь, почему это?

Линвивер *(проверяет его пульс).* Все будет хорошо, Лоренцо. Потерпи. Лежи себе и жди. *(Нота фальшивой веселости в голосе.)* Тебя выпишут на День Труда, будешь уплетать барбекю из свиных ребрышек и вспоминать наши джунгли в Порт-Ройяле, как дурной сон. Мне кажется, ты не прочь хорошенько позавтракать?

Кларк, *(вяло).* Мне довольно хреново. Лучше

оставь меня в покое.

Линвивер. Где твоя карта, моряк?

Он внимательно смотрит на очень молодого матроса, который старается осторожно пройти мимо него. Это рядовой матрос по имени Уолли Макгрудер. Он одет в такую же белую госпитальную робу, что и остальные пациенты. С первого взгляда в нем заметны растерянность, смущение и тоска.

Макгрудер. Я… мне нужно в туалет, я имею в виду…

Линвивер *(настойчиво).* Нет-нет! Только после того, как я увижу твой диагноз. Ты новенький. Ты прибыл прошлой ночью, когда меня не было?

Макгрудер. Да, я пришел около десяти.

Линвивер. *(Изучает карту Макгрудера.)* Так, «Уоллес Макгрудер, рядовой, личный номер пять-четыре-два-три-ноль-семь, восемнадцать лет, родился в Денвилле, штат Виргиния, опытный снайпер, закончил курсы 417-го полка. Серологический тест выявил сифилис». Сифилис! *(Обращается к Макгрудеру почти с восхищением.)* Настоящий живой сифилитик! Три плюса на реакцию Вассермана. Ты что, сексуальный дьявол? Аристократ среди венерических плебеев, наследник Казановы, Мопассана и Бодлера?

Добро пожаловать на борт, Макгрудер. У нас не было сифилитиков с прошлого месяца. *(Указывает на остальных пациентов, некоторые из них наблюдают за происходящим.)* На фоне заурядной гонореи твоя болезнь цветет, как ядовитое дерево. *(В сторону.)* Я смеюсь, как подорванный, но в душе я плачу. Это абсолютно неизлечимо.

Дадарио *(Станцику).* Это полная задница. Понимаешь, о чем я?

Линвивер, Среди этих заурядных трахалыциков ты будешь как принц среди плебеев. Но пусть это не вскружит тебе голову.

Дадарио. Вы о чем? Это на самом деле…

Линвивер. Личный осмотр, Уолли. Каждое утро ровно в шесть сорок осмотр у доктора Гланца. А сегодня здесь будет еще и капитан Бадвинкель, новый начальник госпиталя.

Дадарио. Я думал, такие осмотры бывают только в тюрьме. Я имею в виду…

В этот момент зажигается свет в кабинете старшего уролога. В комнате находятся доктор Гланц в форме лейтенанта и капитан Бадвинкель. Доктор Гланц — невысокий, седой, в очках, держится официально. Каждый его жест заранее выражает послушание и подчинение долгу. Капитан Бадвинкель представляет собой

голливудский вариант военно-морского офицера — властный, с аристократичной осанкой, независимый и гордый. Форменный китель сплошь увешан боевыми медалями и орденами. Доктор Гланц берет папку бумаг, и они продолжают разговор, жестикулируя за стеклом, в то время как Линвивер продолжает разговор с Макгрудером.

Линвивер. Обрати внимание, сынок. На самом деле, большое количество прозрачной слизи, скапливающейся на конце мужского органа, так называемый уретрит — забавное слово, — является симптомом гонореи, а не сифилиса. Но часто такие ребята, как ты, попадают к нам, подхватив оба этих заболевания, поэтому личный осмотр тебе необходим — по крайней мере первые несколько дней. Итак, сначала осмотр, а потом уже пи-пи.

Макгрудер *(безысходно).* Хорошо. О Господи! Хорошо.

В то время как доктор Гланц говорит с капитаном Бадвинкелем, пациенты продолжают свои утренние приготовления.

Гланц. По-моему, это признак разложения армии, когда мы наблюдаем повальную заболеваемость венерическими болезнями во время войны. Конечно, эта проблема всегда была — и

на море, и на суше. Что правда, то правда. Но никогда прежде мы не сталкивались лицом к лицу с таким ростом заболеваемости.

Бадвинкель. Да, доктор Гланц, я разделяю вашу тревогу. Конечно, я не врач, но как руководитель очень озабочен. В Вашингтоне тоже уделяют внимание этой проблеме. Вряд ли нужно напоминать, что в этот трудный час я нахожусь здесь не для того, чтобы пить пиво и играть в кегли. Одна из первых и самых важных моих задач — позволю себе заметить, — это взять под контроль эпидемию венерических заболеваний. Образно говоря, провести наш корабль сквозь рифы и скалы.

Гланц. Да, капитан, нет более явного свидетельства разложения, чем та картина, которую мы здесь видим. *(Показывает на схему.)* Из пятнадцати пациентов только четверо не имеют венерических заболеваний. Самый серьезный случай — пиелонефрит, боюсь — хронический. Его должны были выявить при первом же медосмотре, но этого не случилось, и теперь пациент медленно умирает на государственном обеспечении. Второй случай не венерического происхождения — банальное обрезание. Третий — камни в почках. Четвертый и последний — подозрение на туберкулез почек. Вас не удивляет, что обрезание

у нас тоже проходит как заболевание? *(Смеется.)* Ладно, все остальные наши пациенты — венерические больные, практически у всех — гонорея. Это совершенно безнравственная и приводящая в уныние картина, с которой капитан уже вкратце ознакомился.

Бадвинкель. А как себя зарекомендовали в лечении гонореи новые сульфидные препараты, Гланц? Если они совсем не помогают, как я уже слышал, то нам придется принять самые жесткие меры в портах и стоянках.

Гланц. В целом ваша информация верная, хотя в отдельных случаях мы наблюдаем значительные улучшения.

Бадвинкель. Я знаю, среди ваших пациентов были случаи паховой гранулемы. Она поддается лечению сульфидами?

Гланц. Можно сказать, совсем не поддается, капитан. Вот у этого цветного парня язвы в паху, и это его совершенно обессилило. Мы, к сожалению, ничем не можем ему помочь. Он протянет недолго. Мы благодарим Бога за то, что гранулема бывает, как правило, только у чернокожих.

Бадвинкель. Это ужасная болезнь, с высоким уровнем смертности.

Гланц. Да, сэр. Нас часто бросает в дрожь при

мысли, что гранулема могла бы легко передаваться при контакте между белыми парнями и черными женщинами. Наши парни вступают в связи с кем попало.

Бадвинкель. Знаете, Гланц, я недавно услышал о потрясающем лекарстве, разработанном в Англии. Мне кажется, оно называется пенициллин. *(Делает ударение на неправильном слоге.)* Оно просто чудотворно и воздействует на множество в прошлом неизлечимых болезней. К сожалению, у нас оно появится не раньше следующего года.

Гланц. Пенициллин, сэр. Да, мы слышали об этом лекарстве. Оно может стать спасением. Но не вызовет ли это других проблем, сэр?

Бадвинкель. В каком смысле?

Гланц. Ну, если оно будет лечить большинство венерических заболеваний, то не откроет ли это дорогу пороку? Развратник станет потакать своим слабостям в надежде на безнаказанность и отбросит все предосторожности. Нации грозит всеобщее распутство!

Бадвинкель. Спаси нас Господь, доктор Гланц.

Гланц. Прежние сдерживающие догматы уже не работают. Казалось бы, случаи страшных заболеваний должны останавливать и устрашать, но не тут-то было. Похоже, их ничто не

может остановить. Они сношаются, как кролики, даже не используя элементарные средства предохранения в виде кондомов, которые в целях профилактики мы выдаем бесплатно. Совершенно бесплатно, сэр.

Бадвинкель. Самые главные, я бы сказал, самые влиятельные силы в Вашингтоне разделяют вашу тревогу, Гланц. С другой стороны, в министерстве военно-морского флота есть сентиментальные и чувствительные персонажи, склонные преуменьшать ужас венерической эпидемии в армии. Они предлагают ликвидировать, как унизительную процедуру, ежедневный осмотр личного состава. Если вы хотите знать мое мнение, Гланц, строго между нами, эти новые веяния имеют большое влияние благодаря поддержке Элеоноры Рузвельт.

Гланц. Я чувствую, с личным осмотром в армии скоро придется распрощаться.

(Бальные начинают выстраиваться в ряд перед своими кроватями.)

Бадвинкель. Мы говорим об эпидемии гонореи, а что будет, когда мы столкнемся с сифилисом?

Гланц. От одного до другого всего один шаг, сэр. Сифилис! Эта старая грязная шлюха готовит нам немало сюрпризов. Если эпидемию не убить в

зародыше, последствия будут страшными. Например, только прошлой ночью к нам поступил молодой восемнадцатилетний моряк с невероятно высоким показателем реакции Вассермана. Я уверен, что его сифилис уже перешел в серьезную стадию, но точный диагноз поставить чертовски сложно, будем говорить правду. Он отказывается говорить об обычных в таких случаях симптомах. Он также отрицает, что вступал в беспорядочные связи. Нам кажется, что этот парень просто нам врет. Он юлит, но мы считаем, что он большой развратник.

Бадвинкель *(смеется).* Это должно быть несложно — подобрать к нему ключик. Мне кажется, достаточно поворошить его сексуальное прошлое, и оттуда выползет целое ведро червей.

Гланц. О да, сэр, вы попали в точку. Это самое главное. Детальное изучение сексуальной истории венерических больных — часто самый правильный путь к верному диагнозу.

Линвивер *(в дверях кабинета).* Все больные построены для личного осмотра, сэр. *(Кричит пациентам.)* Равняйсь!

Гланц. Спасибо, Линвивер. *(Они входят в палату.)* Ничто не заменит старого доброго личного осмотра для выявления прогресса в лечении.

Возможно, кому-то это покажется примитивным методом, но пока никто ничего лучшего не изобрел.

Пациенты выстроились вдоль кроватей. В сопровождении Линвивера и Бадвинкеля Гланц проходит вдоль шеренги и останавливается рядом с Дадарио.

Линвивер *(смотрит на гениталии Дадарио).* Ну что — здравствуй, красавец. Оттяни кожу. Сожми. Разбуди его.

Гланц. У тебя все хорошо подсыхает, Дадарио. *(Бадвинкелю.)* Это типичный случай гонореи без осложнений, когда она хорошо реагирует на сульфамидные препараты. Завтра скорее всего выделения уже прекратятся, и тогда мы начнем применять различные мази и препараты против гонококков. Этот парень выйдет отсюда в конце недели.

Бадвинкель. Надеюсь, теперь ты пойдешь по прямой дороге, Дадарио. Постарайся держать под контролем своего дружка. Америка умеет воевать, но, без сомнения, проиграет, если ее бойцы станут сражаться не на поле боя, а под одеялом. Согласен, Дадарио?

Дадарио. Так точно, сэр! Я постараюсь, сэр! *(Пауза.)* Доктор Гланц, сэр, я бы хотел пожаловаться.

Гланц. В чем дело, Дадарио?

Дадарио. В Чакли. *(Показывает на больного, лежащего на соседней кровати.)* Он бредил всю ночь. Я не мог уснуть. Это сводит меня с ума. Прошу перевести меня на другую кровать, куда-нибудь подальше от него, сэр.

Гланц *(подходит к кровати Чакли).* Боюсь, придется потерпеть. Тебе, вероятно, осталось всего несколько дней здесь. *(Смотрит на больного Чакли и говорит Бадвинкелю.)* Откровенно говоря, мы не думаем, что этот парень долго протянет. При его давлении сердце может не выдержать в любой момент.

Линвивер. *(Станцику, ядовито.)* Что такой кислый сегодня, красавчик? Кожу оттяни.

Гланц. Это очень трудный случай, с продолжающимися выделениями и воспалением яичек. Посмотрите на эти пятна крови. Сульфамиды здесь не действуют, поэтому мы не знаем, сколько этот парень у нас здесь протянет. Основная причина, как в большинстве случае, в его бурном темпераменте. Станцик говорит, что имел первую половую связь в девять лет.

Станцик *(весело).* В восемь, сэр.

Гланц. Значит, в восемь. И хотя ему всего двадцать четыре — у него уже было около пятидесяти

женщин.

Станцик. Их было шестьдесят, я говорил вам. Помните тот список, который я написал…

Гланц. Шестьдесят! Еще более очевидно! Боже! Шестьдесят женщин, включая самых грязных портовых шлюх от Бостона до Сиэттла! *(Повышает голос от негодования.)* Разве это не доказательство, что нация терпит поражение в борьбе с распутством? Линвивер, увеличьте этому человеку дозу лекарства до максимальной каждые четыре часа.

Линвивер. Слушаюсь, сэр.

Они проходят дальше.

Гланц *(замечает, что Бадвинкель морщится, когда они проходят мимо постели Кларка).* Этот мерзкий едкий запах, сэр, — признак последней стадии гранулемы. Боюсь, это безнадежно. У него все слишком далеко зашло, когда впервые обратился за помощью. *(После того как он осмотрел Макдэниела, он подходит к кровати Макгрудера.)* А вот здесь у нас сифилис, о котором мы вам говорили. Напомни свое имя, сынок.

Макгрудер. Макгрудер, сэр. Рядовой Уоллес. Пять-четыре-два-три-семь, морская пехота армии Соединенных Штатов.

Линвивер *(плотоядно).* Неплохо для малыша.

Кожу наверх. Сожми его. Подави.

Гланц. Выделений не видно. Это свидетельствует об отсутствии гонореи. Уже хорошо. Но что касается сифилиса, капитан, его показатели реакции Вассермана улетают в стратосферу. Макгрудер, мы хотим, чтобы ты повторил в присутствии капитана то, что ты говорил нам прошлой ночью. Первое: ты сказал, что никогда не видел у себя шанкра — отчетливую язву или нарыв в интимных местах.

Макгрудер. Да, сэр, это правда. Никогда.

Гланц. Второе: в течение года или около этого ты не видел у себя на теле пятен или сыпи, которые бы сопровождались болезненными ощущениями, головной болью, кашлем или тошнотой?

Макгрудер. Нет, никогда, сэр.

Гланц. Видите, сэр, у него отсутствуют два основных симптома раннего сифилиса. *(Макгрудеру.)* Ты сказал нам вчера, что ты студент.

Макгрудер. Да, сэр, я проучился один семестр в колледже.

Гланц. Ты сказал, что изучал литературу. Что хочешь быть писателем или поэтом, что-то вроде этого.

Макгрудер. Да, сэр. Я написал несколько корот-

ких рассказов. И я пишу стихи — пытаюсь.

Гланц. Чтобы быть писателем, надо обладать большой наблюдательностью, не так ли?

Макгрудер. Я думаю, да, сэр.

Гланц. Думаешь? Ты знаешь абсолютно точно, что это так! И вот ты — студент с литературными амбициями, человек, от которого требуется хорошая наблюдательность, стоишь здесь перед нами и утверждаешь, что никогда не замечал у себя никаких симптомов сифилиса?

Макгрудер. Это правда, сэр.

Гланц *(качает головой).* Очень правдивая история. *(Бадвинкелю.)* Прошлой ночью, сэр, когда мы его осматривали, мы заметили кое-что, что позволит в дальнейшем подтвердить наши предположения о сифилисе. *(Виртуозно надевает резиновую перчатку и берет пенис Макгрудера пальцами.)* Как вы можете видеть, мальчику делали обрезание. Ты какой веры, кстати?

Макгрудер. Я пресвитерианин, сэр.

Гланц. Склонный к дурным привычкам, не так ли, Макгрудер? А теперь заметьте, капитан, маленькое розовое пятнышко, рельефный шрам как раз радом с головкой. На наш опытный взгляд — если у тебя есть иллюзии, это не что другое, как шрам после венерического шанкра.

Макгрудер. Этот шрам у меня с детства.

Гланц. То же самое он говорил нам прошлой ночью. Есть сомнение в том, что шрам — следствие простого обрезания. *(Смеется.)* Боюсь, это еще одна уловка.

Бадвинкель. Да, доктор, все мы знакомы с этой старой как мир дилеммой — врача и диагноза. С одной стороны, врач старается выудить из пациента правду, чтобы найти эффективный способ победить болезнь, исполнить свой священный долг — лечить и вылечить пациента. С другой — пациент, часто порочный и заблудший, старается скрыть правду — что само по себе понятно, так как правдивая история открыла бы его похождения, которые смердят, как вода из трюма в шанхайской лодке.

Макгрудер. Но сэр! Этот шрам у меня с детства! Я помню его с тех пор, как стал разглядывать это свое место. Я говорю вам, сэр, вы должны мне поверить: у меня никогда не было никакой язвы — той штуки, которую вы называете шанкр, — ее никогда у меня не было!

Гланц. Макгрудер, позволь сказать тебе кое-что. Годы исследований опытнейших ученых, которые изобрели специальный тест на флоккуляцию крови — реакцию Вассермана и Канна, — не

могут быть дискредитированы твоими детскими воспоминаниями. В данный момент мы признаем факт того, что у тебя когда-то был шанкр, так же как мы признаем, что сейчас у тебя сифилис.

Бадвинкель. Ради Бога, парень, сифилис — очень заразная болезнь! Хватить болтать! Ты не можешь так бессовестно вести себя, рискуя жизнью других — своих товарищей моряков, которые могут заразиться от тебя! Как тебе не стыдно, наконец!

Гланц. Линвивер, проследи, чтобы Макгрудер пользовался отдельным туалетом и душем для сифилитиков. И чтобы посуда, из которой он ест, была специально стерилизована и хранилась отдельно от посуды других. *(Бадвинкелю.)* А теперь, сэр, мы бы очень хотели, чтобы вы увидели нашу лабораторию. Она у нас новая, там стоит самое современное оборудование.

Они уходят со сцены направо.

Макгрудер. Боже! *(Садится на кровать, обхватив голову руками, поза отчаяния.)* О Господи!

Линвивер. О'кей, парни! Можете быть свободны! Оправьтесь хорошенько и собирайтесь в кают-компании через пятнадцать минут!

Кроме двух тяжелобольных и Макгрудера, все пациенты берут свои полотенца, банные принад-

лежности и уходят.

Станцик. Ты везунчик, Дадарио. В следующий уик-энд тебя уже здесь не будет. Скажи мне, что ты сделаешь прежде всего? Давай я угадаю с трех раз.

Дадарио. Нет, я тебе сам скажу, что я собираюсь делать. Я возьму трехдневный отпуск и уеду в Саванну. Там я пойду в один из этих рыбных ресторанов в центре и закажу большую тарелку креветок. Затем я буду слоняться по всем городским барам, попивая виски…

Станцик. А затем тебя потянет на подвиги, в одно из тех злачных мест со сладкими кошечками…

Дадарио. Нет, Станцик, первый раз в жизни, единственный раз в жизни, я не собираюсь трахаться. Я буду только сидеть и пить свое виски да вспоминать о венерическом корпусе, о том, как вы тут поживаете, о нашей компании, и впервые в своей жизни я буду целомудренным, как фиалка, которая расцветает весной. И все!

Они выходят.

Макгрудер *(самому себе).* Надо было думать — идиот! *(Бьет себя полбу, в отчаянии.)* О Господи! Нет!

Шварц. *(Он сидит поблизости.)* Мне кажется,

тебе надо успокоиться. Новички часто впадают здесь в панику. Это всегда шок. Успокойся. Твою болезнь можно лечить, если они поймут, какая у тебя стадия и все такое. Я немного разбираюсь в этом. Я сам военврач — сапожник без сапог, — но я знаю многих парней, которые излечились от этой болезни. Все дело в том, какая у тебя стадия.

В то время как Шварц говорит, Линвивер измеряет давление у Чакли, потом подходит к кровати Кларка, надевает хирургическую маску, поднимает простыню и делает Кларку подкожную инъекцию. Макгрудер и Шварц реагируют на неприятный запах. Макгрудер с отвращением. Линвивер укрывает Кларка простыней.

Макгрудер. Почему такая вонь, Шварц?

Шварц. Кларк — негр. Я никогда не произношу это слово. Я никогда не использую это слово. Ты знаешь, я сам из национальных меньшинств, но этот негр — настоящий дьявол. Я думаю, он ненормальный. Он умирает. Поэтому от него такой запах. Я уже привык.

Макгрудер. А что у тебя?

Шварц. Туберкулез почки. Страшная болезнь. Я здесь уже давно. И для меня у них нет лекарств, и это очень плохо. А для тебя у них есть хорошие лекарства. В конце концов, есть магические пули

доктора Эхлича. Поэтому не надо паниковать. Спокойней. Все будет хорошо, если у тебя это не очень запущено. Постарайся успокоиться.

Макгрудер. Что это за пули доктора Эхлича?

Шварц. Неужели ты не видел фильм о докторе Эхличе? В нем играл Эдвард Робине. Крутое кино! Я его хорошо помню…

Макгрудер *(нетерпеливо).* Но лекарство, что это за лекарство?

Шварц. Магическая пуля? Он изобрел некую химическую смесь. Сделанную из мышьяка или ртути, что-то вроде этого. Она называлась препарат 606. Это потому, что Эдвард Робинсон провел 606 экспериментов, разрабатывая это средство.

Макгрудер. Хорошо, а как оно действует?

Шварц. Я не знаю точно как, но тот парень, который был здесь последним — тот моряк с сифилисом в прошлом месяце, — они отправили его отсюда в госпиталь в Безесте. Говорят, ему делали уколы пятнадцать месяцев.

Макгрудер. О Боже! Пятнадцать месяцев. Это вечность.

Шварц. Но он мог умереть. Тут уж на все согласишься.

Макгрудер *(после длинной паузы встает на ноги).* Знаешь, это странно, Шварц, — я не чув-

ствую себя больным. Я чувствую себя хорошо! И единственная причина, по которой я пошел в матросы, — это надежда, что я не буду бояться за свое здоровье. Понимаешь, когда я был штатским, я все время боялся чем-нибудь заболеть, боялся заболеть раком или туберкулезом. Кто-нибудь кашлянет мне в лицо, и я весь день об этом думаю, воображая, что он заразил меня туберкулезом. Или артритом! Я купал коня в речке, и потом я забыл об этом, но на следующий день почувствовал боль в ноге и сказал себе: «Черт, у меня артрит!» И тут же решил, что моя нога неизлечимо больна. Я нашел в себе силы пойти к доктору, и он сказал, что у меня всего лишь растяжение связок. Мне казалось, что я избавлюсь от всего этого, когда пойду служить во флот, бегая и маршируя, делая упражнения и все такое. И вот как только я стал моряком, что же случилось? У меня нашли сифилис. Самый высокий уровень реакции Вассермана за всю историю военно-морского флота Соединенных Штатов! В моем организме миллионы бактерий.

Шварц. Спирохеты…

Макгрудер. О чем ты?

Шварц. Не микробы внутри тебя, а спирохеты. Они так называются. Я видел их в микроскоп.

Макгрудер. Какая разница?

Шварц. Микробы выглядят как… ну… как микробы. Маленькие палочки, шарики, капельки и все такое. Сифилитические спирохеты выглядят, как чертовы буравчики.

Макгрудер *(содрогаясь).* О Боже! Буравчики! Миллионы!

Шварц. Это правда. Миллионы. В этом отличие сифилиса.

Макгрудер. Но, Шварц, я не мог заболеть сифилисом! Это невозможно! *(Пауза.)* Хорошо, я не девственник. У меня были женщины — две женщины. Но они — нет! Я имею в виду, что подхватил его в туалете или что-то вроде этого.

Линвивер *(протягивает белую робу и саркастически смотрит на Макгрудера).* Ха-ха-ха! В туалете! Эта сказка стара как мир! Ты бы не заболел тем, чем болеешь, если бы не трахался с кем попало. Дело тут не в стульчаке.

Макгрудер. Тогда я подхватил это в кают-компании или на камбузе, где посуду и столовые приборы моют кое-как…

Линвивер. Уолли, позволь мне дать тебе совет. Перестань винить неодушевленные предметы в своих проблемах. Сифилис передается половым путем. Согласись, что ты опытный ходок, тебя за

это никто не осудит. То, что случилось с тобой, могло случиться с любым распутником.

Макгрудер. Но в том-то и дело. Разве ты не понимаешь? Если бы я был таким, как ты называешь, «ходоком», то было бы понятно, но я ведь…

Линвивер *(игнорируя его слова).* Теперь ты будешь носить другую робу. Посмотри. Она желтого цвета, и на ней есть буква «С», обозначающая твою болезнь.

Макгрудер. Я не стану ее носить! Боже, это похоже… похоже на концлагерь.

Линвивер *(настойчиво).* Нет, тебе придется ее носить, Уолли. Это правила доктора Гланца.

Макгрудер. Когда я должен носить ее?

Линвивер. Все время, пока ты находишься в палате, и когда ты пойдешь куда-нибудь по госпиталю — в столовую, скажем, посмотреть кино или в библиотеку.

Макгрудер (с *негодованием).* Может быть, ты дашь мне и колокольчик, чтобы я звонил? Как какой-нибудь, какой-нибудь… прокаженный?!

Линвивер. И еще одно. Когда ты пойдешь в гальюн, то должен будешь использовать крайнее правое сиденье. На нем отчетливо написана буква «С», так же как и на ванне, которой ты должен будешь пользоваться.

Макгрудер. Если ты считаешь, что этим нельзя заразиться от стульчака в туалете, то почему так много инструкций?

Линвивер. Просто так полагается. Ты привыкнешь к своему новому положению.

Макгрудер. Я никогда не привыкну к такому положению. Никогда!

Линвивер. Да не переживай ты так! Все пациенты венерического корпуса пользуются своими личными принадлежностями. Мы просто не хотим смешивать гонококки со спирохетами. Просто так полагается, ничего более.

Макгрудер *(рассматривает букву на робе).* «С». Желтая. Отвратительно желтая. *(Поворачивается к Шварцу.)* Но почему она желтая? У меня такое чувство, что…

Шварц. Какое, Уолли? *(Он внимательно смотрит на Макгрудера.)*

Макгрудер *(показывает на робу).* Да! Абсолютно! *(Качает головой.)* Боже милостивый!

Линвивер. *(Доктор Гланц и Бадавинкель возвращаются на сцену.).* Внимание!

Макгрудер и Шварц стоят и смотрят на двух офицеров, которые идут по палате.

Бадвинкель. Великолепная лаборатория, доктор Гланц, просто великолепная. Замечательные

приборчики! Особенно мне понравился этот моноциклометр. *(Посмеивается.)* Думаю, ваша лаборатория влетела в копеечку военному флоту.

Гланц *(посмеивается с благодарностью).* Это наша гордость, сэр.

Пока они переговариваются, пациенты группами возвращаются на сцену после утренних омовений. В этот момент Чакли громко стонет на своей кровати в агонии. Линвивер подбегает к его кровати, низко склоняется над ним, проверяет его пульс. Затем спешит к двери.

Линвивер (кричит). Андерсон! Смит! Оба сюда! Кислород! Адреналин! Скорее, я сказал! Быстро, быстро!

Бадвинкель *(безучастно).* Это очень плохо, доктор, что у вас нет быстродействующего катетера Бангарта для исследования внутренностей. Он чертовски полезен в таких случаях.

Гланц. Да, это беда, сэр, при специфике нашей работы в урологическом отделении. Мы надеемся и молим Бога, чтобы капитан заказал нам его.

В то время как они разговаривают, в центре сцены Линвивер подбегает к Чакли в сопровождении двух санитаров, Андерсона и Смита, которые несут специальные инструменты, о которых

говорил Линвивер. Пока санитары занимаются больным, два офицера продолжают разговаривать.

Бадвинкель. Я постараюсь, постараюсь. Да, это была замечательная экскурсия, сэр. Ваше отделение во всеоружии. Я поздравляю вас.

Гланц. Спасибо, сэр. Мы стараемся делать все, что в наших силах.

Бадвинкель. Держите меня в курсе дел этих двух пациентов. И еще насчет этого мальчика, больного сифилисом. Мне бы очень хотелось знать, что вы из него выудите. В то время как Бадвинкель говорит, Шварц подходит вплотную к постели Кларка, Шварц и лежащий на соседней кровати негр внимательно наблюдают за активными действиями трех санитаров у кровати Чакли.

Макгрудер *(паническим голосом).* От чего он умирает, Шварц?

Шварц. Это одна из разновидностей нефрита — болезни почек.

Гланц. Ай-ай-ай. Боюсь, мы скоро станем многопрофильным отделением.

Макгрудер. Нефрит! *(Содрогается.)* Боже, а вы не думаете, что это заразно? *(Отворачивается.)* Это настоящее кладбище!

Бадвинкель. Спасибо вам, доктор! Счастливого плавания! И удачи в благих начинаниях!

Он покидает сцену, в то время как Гланц, греясь в лучах славы, стоит спиной к тем, кто находится на сцене. Свет гаснет.

Сцена вторая

Полдень того же дня. Жизнь в отделении течет, как всегда по утрам. Все пациенты, кроме двух лежачих больных, одеты в робы. Кто-то сидит на кровати. Другие сидят на стульях и читают, в основном комиксы. Из портативного радио звучат джазовые мелодии. Несколько пациентов, среди которых Макгрудер, чья кровать находится рядом с кроватью Кларка, читают или пишут письма. Андерсон, санитар госпиталя, сидит рядом с кроватью Чакли и внимательно следит за приборами, периодически поправляя поступление кислорода, наблюдая за тяжелобольным пациентом. В то время как все заняты своими делами, на левой стороне сцены появляется персонаж в одежде католического священника и идет навстречу Линвиеру, который появился на противоположной стороне сцены и склонился над постелью Чакли. Священника сопровождает

молодой служка, который несет атрибуты, используемые в церкви для последнего причастия.

Священник *(Линвиверу).* Мне сказали, что у вас есть пациент, который нуждается последнем причастии.

Линвивер. Я так не думаю, сэр.

Священник *(хмуро смотрит на Чакли).* Почему? По-моему, этот человек смертельно болен.

Линвивер. Без сомнения, сэр. Он в коме. Тяжелее не бывает.

Священник *(двигаясь вперед).* Тогда ему нужно сделать последнее помазание.

Линвивер. Сэр, но человек этот баптист.

Священник. Он не может быть баптистом.

Линвивер. Извините, сэр, но это так. Он говорил мне. Кроме того, это написано на его жетоне. «П» у протестантов.

Священник. Послушайте, это невозможно. Я получил письмо из штаба, в котором сказано, что католик умирает в отделении «В».

Линвивер. Но это отделение «Д», сэр.

Священник. Простите, это отделение «В», как «Виктория»?

Линвивер. Нет, сэр, «Д», как «Дохлятина».

Священник. «Д», как «Дохлятина»?

Линвивер. Так точно, сэр. «В» — ортопедическое

отделение.

Священник. Тогда какое же это?

Линвивер. Урологическое и венерическое.

Священник. Урологическое и венерическое? *(Содрогается.)* Боже! *(Ассистенту, живо.)* Уходим отсюда, Уилкинс! Быстро! Быстро!

Он торопится на выход и уходит со сцены в сопровождении ассистента. На краю сцены слева стоит кровать молодого матроса по имени Макдэниел, который жадно перечитывает письмо, которое только что получил. Внезапно он вскакивает со своего стула, и его голос привлекает внимание других пациентов.

Макдэниел. Я не могу поверить! Я просто не могу в это поверить!

Дадарио. Что случилось, Макдэниел? Тебя уволили в запас?

Макдэниел. Я про письмо — я получил письмо от личного секретаря Ронды Флеминг!

Станцик. И что сказала Ронда? Она хочет, чтоб ты вдул ей?

Макгрудер *(сукоризной, искренне).* Перестань, идиот! Ты не достоин даже произносить ее имя! *(Возвращается к письму.)* Послушай вот это. «Дорогой Дэви! Как и многие кинозвезды, мисс Флеминг каждый день получает сотни писем от

своих обожателей, и она не в силах ответить каждому. Но ты пишешь ей так часто, что это сильно впечатлило ее, и она попросила меня написать тебе. Она думает, что такие, как ты, моряки — это самые лучшие, чистые, храбрые парни Америки, и она надеется, что ты будешь думать о ней, когда отправишься в море и будешь сражаться с японцами. Искренне твоя…»

Его голос замирает в благоговении.

Станцик. Клянусь, она бы усралась, если бы узнала, что у тебя триппер.

Макдэниел *(сердито Станцику).* Ты уже достал, урод…

Линвивер *(проходит между ними).* Ну, ну, не ссорьтесь, ребята! Уже двенадцать. Время жратвы! *(Всем.)* Приятного аппетита, парни! Всем, кроме тебя, Шварц. Ты сегодня идешь на исследование желудка.

Пациенты уходят со сцены, минуя Макгрудера, сидящего на стуле у своей кровати. Шварц сидит рядом с ним. Санитар отходит от кровати Чакли, который дышит кислородом. Линвивер оглядывается назад.

Линвивер. Трескать не будешь, сынок?

Макгрудер. Нет, я… мне кажется, потерял аппетит. Я останусь здесь, если можно.

Линвивер *(довольно добродушно).* Конечно, Уолли. Я понимаю. Многие парни теряют аппетит, попадая сюда. Ничего, это ненадолго.

Линвивер уходит. Макгрудер сидит, читая одно из писем. Кларк сидит, опираясь на подушки, и молча смотрит на Макгрудера и Шварца.

Шварц *(в его голосе слышались зависть и восхищение).* У тебя столько писем.

Макгрудер *(скромно).* Ну да, много. Пять. Думаю, для одного дня это немало.

Шварц. Я получаю по одному письму каждый день. От жены. Это замечательно. Я чувствую себя не таким одиноким. А тебе кто пишет?

Макгрудер. Моя девушка, из моего родного города в Виргинии. Иногда она Пишет мне по два письма в день — да нет, больше! — даже по три письма. Чаще она пишет о книгах, которые читает. Она очень любит поэзию — так же, как я.

Шварц. Блондинка или брюнетка?

Макгрудер. Что-то среднее. У нее рыжевато-каштановые волосы, можно так сказать? Да, рыжевато-каштановые.

Шварц. У нее хорошая фигура?

Макгрудер (с *чувством).* Все при ней.

Шварц. Жаль, про мою жену этого не скажешь. У нее приятное лицо. Она похожа, ну, немного

похожа лицом на Эву Гарднер. Но в остальном… начала толстеть. К сожалению. *(Пауза.)* Рыжевато-каштановые. Мне нравится этот цвет. И поэзию я тоже люблю.

Макгрудер *(заинтересованно).* Правда? Какие стихи ты читаешь?

Шварц. О, я почти не читаю стихов. Хотя я читаю книги. Полезные книги. *(Показывает на две книги, лежащие рядом.)* Те, что стоят того и по-настоящему полезны.

Макгрудер. Что это за книги?

Шварц. Ну, вот, например эта, — «Как управлять зоомагазином». После войны я хочу купить магазин. Я люблю животных — собак, кошек, птиц, черепах, даже змей. Мне бы хотелось иметь собственный зоомагазин. А вот эта книга называется *(читает обложку)* «Толерантность, или Как научиться сочувствовать другим людям», написал раввин Макс Вайнберг, издательство «Темпп Родеф Шойлер», Цинциннати, штат Огайо. Что за книга! Просто улетная книга!

Макгрудер. Звучит интересно. Впечатляюще. О чем она?

Шварц. Ну, в основном о страданиях.

Макгрудер. Что ты имеешь ввиду?

Шварц. Ну, в ней говорится, что наша *(колеб-*

лется) нация, мой народ на протяжении столетий подвергался гонениям. Вот послушайте *(начинает читать):* «Преследуемые, порабощенные, бедные…»

Кларк *(прерывает).* Бедные? Ха-ха! Бедные! Поцелуй мою черную задницу! Бедные, говоришь? Евреи не бедные, евреи богатые! Жиды богаты, как Национальный банк Мемфиса. Ну и сказал! Это бред, бред, я вам говорю. Вот, например, Оле Клайн из моего родного города Боливара, штат Теннесси, этот жиденок так богат, что ссыт в ночной горшок из чистого золота. «Бедный еврей», вот умора! Поцелуй мою задницу.

Шварц *(с большим терпением).* Просто не обращай внимания на этого негра. Он дьявол, вот и все. Однако, чтобы ответить на твой вопрос, могу сказать, что написано в этой книге «Толерантность». Вечно гонимые евреи научились состраданию и стали идеологами толерантности. *(Пауза, читает.)* «Первая заповедь для человечества: люди должны любить друг друга».

Кларк. Ха-ха! Дерьмо!

Макгрудер *(после паузы).* Но ты говорил, что любишь поэзию, Шварц! Что ты имел в виду?

Шварц. Я имел в виду, что мне нравится поэзия в жизни, и я люблю людей, которые умеют нахо-

дить поэзию в обыденных вещах.

Макгрудер. А сами стихи ты когда-нибудь читал?

Шварц. Конечно. Я выучил поэму, когда учился в институте. Меня даже наградили за это! *(Мрачно, после паузы.)* Портретом декана факультета.

Макгрудер. И что это была за поэма?

Шварц. «Пересекая черту» Теннисона. Я до сих пор помню ее наизусть. *(Пауза.)*

И закат, и звезда с высоты
За собою меня зовут.
И не надо стонать у последней черты,
А пора собираться в путь.

(Пауза, размышляет.)

Круто написано? И печально. Это о смерти.

Макгрудер. Да, правда. *(Нерешительно.)* Стихи прекрасные, но… но это не та поэзия, которая дорога мне. Я хотел сказать: ты когда-нибудь читал Элиота?

Кларк. Элиота? А говнолета не хочешь? Ха-ха!

Шварц. Заткнись! Продолжай, Уолли. Что это за поэт?

Макгрудер. Т.С. Элиот. Это великий поэт. Изумительный! И еще есть Эмили Дикинсон, и Харт Крейн, и Уоллес Стивене, Стивенс! Его стихи —

настоящая музыка! Ног, например, это о смерти, как-то так…

Смерть — таинство и матерь красоты,
В чьем знойном лоне различаем мы
земных, бессонных наших матерей.

(Пауза.)

И знаешь, что интересно, Шварц? Этот парень, Стивене, вице-президент страховой компании в Хартфорде, штат Коннектикут!

Шварц *(задумчиво).* «Смерть — таинство и матерь красоты». Хорошо. Он хорошо пишет. И ты говоришь, он работает в страховой компании? Как, ты сказал, его имя? Элиот?

Макгрудер. Стивене. Уоллес Стивене. Я бы многое отдал, чтобы писать такие стихи.

Шварц. Таинство и матерь красоты… *(Длинная пауза.)* Я сегодня днем иду на исследование желудка. Ко всем моим почечным делам доктор Гланц подозревает у меня язву.

Макгрудер. О Боже, я тебе сочувствую.

Шварц. Не понос, так золотуха! У тебя туберкулез почек, и ты переживаешь об этом до тех пор, пока не зарабатываешь язву. Теперь я переживаю за свою язву.

Кларк. *(Он наблюдает за Макгрудером и Шварцем и внезапно заходится смехом.)* Ха-а-ха! *(В его смехе звучит болезненная усталость; голос вялый, ослабленный.)* Ха-ха! Жидовская поэзия. У вас, белых парней, столько дерьма внутри, что оно лезет из ушей.

Макгрудер. Что это с ним?

Шварц. У него поехала крыша. Он полоумный. Больной на голову.

Кларк. Сам ты больной, ослиное дерьмо. Вы, белые, изгадили всю мою жизнь. Ха-ха-ха. Жиды-уроды. *(Поднимается осторожно на локтях.)* Поэзия! Поцелуй меня в задницу!

Макгрудер *(примирительно).* Слушай, я не хотел…

Шварц. Не обращай на него внимания. Он опасный тип. Замолчи, Лоренцо! *(В сторону.)* Я должен быть терпимым! *(Масленым голосом.)* Просто постарайся уснуть.

Кларк. Это не твое дело, сплю я или нет, жиденок.

Шварц. Он переполнен яростью. Однажды, до того, как ты появился здесь, меня навещала жена. Когда она пришла, меня не было в палате. И когда Кларк увидел ее, он сказал ей, что я умер.

Макгрудер. Какой ужас!

Кларк. Скоро этот парень *(показывает жестом)* наверху заткнет меня насовсем. И я усну надолго. И ты тоже, жиденок. Потому что и ты, и я, дружок, глядим прямо в могилу.

Шварц. Это невыносимо!

Макгрудер. Что с ним?

Кларк. И ты, сынок, потому что у тебя сифилис. Ха! Ха! Готовься, скоро тебя тоже оденут в деревянное ки-мо-но…

Шварц. Я пойду — приведу Линвивера, чтобы заткнул его. *(С внезапной яростью.)* Ты провонял до небес, Лоренцо! К черту толерантность! И тебя к черту, Лоренцо!

Кларк. Да, я воняю, и я черный, и я гол как сокол, и у меня нет никого, кто схоронил бы меня. Но одно я знаю точно: нет никакой разницы между мертвым негром и мертвым белым жиденком, когда оба они — корм для червей. Мы равные!

(Откидывается назад, утомленно, тяжело дышит.)

Шварц. Откуда в тебе эта злоба? *(Кларк не отвечает.)* Что я тебе сделал! *(Макгрудеру.)* Я все время старался быть с ним любезным.

Макгрудер. Возможно, ты прав. Вероятно, болезнь помутила его рассудок.

Шварц. Другого объяснения и быть не может.

(Внезапно Макгрудер вскакивает на ноги, выпрямляется.) Что случилось?

Макгрудер *(в большом возбуждении).* Господи помилуй! Я чувствую себя так, будто умер и проснулся в могиле! Это место сводит меня с ума!

Шварц. Успокойся, Уолли!

В то время, как он пытается успокоить Уолли, свет переходит в офис Гланца, появляется Гланц — одетый в белый докторский халат. Одновременно с другой стороны сцены появляется Линвивер.

Линвивер. Макгрудер! Доктор вызывает тебя на осмотр.

Шварц. *(Макгрудеру, когда тот проходит мимо).* Удачи тебе, Уолли!

(Макгрудер входит в кабинет и стоит в ожидании указаний.)

Макгрудер. Рядовой Макгрудер Уоллес, пять-четыре-два-три-ноль-семь, прибыл в ваше распоряжение, сэр.

Гланц *(Роется в бумагах, не поднимая глаз).* Вольно, Макгрудер. Садись. *(Макгрудер берет стул и садится напротив доктора, который продолжает изучать бумаги и в конце концов поднимает глаза.)* Давай продолжим с того, на

чем остановились, Макгрудер. Несмотря на все сказки насчет стульчаков в туалете, сифилис передается исключительно при половом контакте. Следовательно, после медицинского обследования, которое ты прошел, мы должны составить подробный список твоих сексуальных контактов. Ты понимаешь, зачем это нужно?

Макгрудер. Да, сэр.

Гланц. Очень хорошо. Нас совершенно не интересуют пикантные подробности твоей личной жизни. Нужны только факты. Итак, приступим. Сколько женщин у тебя было? *(Начинает писать.)*

Макгрудер. За всю жизнь?

Гланц. За всю жизнь.

Макгрудер. Две, сэр.

Гланц *(после продолжительной паузы и испытующего взгляда).* Посмотри на нас. Подними голову и посмотри нам в глаза. Ты можешь это сделать?

Макгрудер. Я смотрю на вас — на всех вас — внимательно, сэр.

Гланц. Ты видишь перед собой взрослого мужчину среднего возраста, отца четверых детей, получившего медицинское образование в Будапеште, стажировавшегося в Центральных

больницах Нью-Йорка, Лондона, Арканзаса, члена Медицинской ассоциации Америки, члена ученого совета Американского Военно-медицинского института, человека, чье имя значится в сборнике *«Кто есть кто в Америке»,* врача-уролога с двадцатипятилетним стажем. Ты видишь перед собой человека, много повидавшего и, как мы смеем надеяться, умудренного опытом. И мы страдаем не меньше, чем любой из наших пациентов. Если ты нас уколешь, мы тоже крикнем «Ой». Короче говоря, ты видишь глубоко чувствующее, разумное существо. *(Пауза.)* И скажу тебе больше: мы наделены способностью видеть самую суть. Тебе этого не дано, но твоей вины в этом нет. Пойми, Макгрудер: перед тобой стоит не какой-нибудь сосунок, молоденький интерн, способный проглотить любую чушь, которая слетит с губ пациента. Неужели ты думаешь, что мы поверим, будто у тебя было всего две женщины?

Макгрудер *(уверенно).* Да, сэр, потому что это правда.

Гланц. Ерунда.

Макгрудер. Неужели вам непонятно, сэр? У меня было мало времени. Простите, но мне ведь только восемнадцать!

Гланц. Ты молод, это правда, но большинство

таких же молодых матросов признавались, что у них было десятка два женщин. К сожалению, у меня нет волшебной сыворотки, чтобы выудить из тебя правду. *(Вздыхает.)* Мы уверены в том, что ты лжешь, но, видимо, придется поверить тебе на слово. *(Пауза. Пристально смотрит в глаза Макгрудеру.)* Всего две, говоришь? А кто они были — эти две женщины?

Макгрудер. Одна из них была… *(Он запинается, смущенно.)* Она была…

Гланц. Ну же, ну, Макгрудер. Тебе нечего стесняться. Неужели не понимаешь? Мы должны зафиксировать эти подробности, чтобы спасти твою жизнь!

Макгрудер. Она была взрослая женщина, сэр.

Гланц. Взрослая женщина. Не мог бы ты сказать нам, сколько раз у тебя был физический контакт с этой взрослой женщиной?

Макгрудер. Один раз, сэр. Только один раз.

Гланц. Достаточно и одного раза. А другая женщина? Кто она такая?

Макгрудер. Она — моя… ну… она моя девушка, сэр.

Гланц. Ты говоришь о ней в настоящем времени. Из этого следует, что у тебя недавно был контакт с этой твоей девушкой и ваши отноше-

ния продолжаются.

Макгрудер. Это правда, сэр.

Гланц. Сколько ей лет?

Макгрудер. Она моя ровесница, сэр. Ей восемнадцать. Ну, немного младше. Семнадцать с половиной.

Гланц. Могу я спросить, сколько раз у тебя был сексуальный контакт с этой девушкой?

Макгрудер. *(Длинная пауза.)* Ничего себе, сэр, я не знаю. Я потерял счет. Много, много раз. Может быть, сотни. Мы любим друг друга больше двух лет.

Гланц. *(Встает и направляется к одной из стен кабинета. Там он разворачивает огромный рулон бумаги с изображением человеческого мозга в какой-то странной гротескной форме.)* Значит, сотни. Так, Макгрудер? Можно сказать, что у вас был довольно бурный роман. *(Показывает на карту.)* Ты знаешь, что это?

Макгрудер. Да, сэр, это похоже на какую-то карту или медицинскую схему чего-то, на человеческий мозг.

Гланц. Именно. Это диаграмма величайшего и самого сложного органа, — человеческого мозга.

Гланц. Да, выглядит очень сложно.

Гланц. Мозг. Возможно, это самое грандиозное

создание Бога. Именно здесь рождаются наши мысли, Макгрудер, эта загадочная, поразительная способность, которая делает обычного человека выдающейся личностью — такой, скажем, как Генри Форд, или музыкальный гений, как Джон Филипп Соуса, или отец полостной хирургии Рудольф Уотчер, — это уже из нашего профессионального пантеона. Совершенный механизм, ты согласен?

Макгрудер. Да, сэр.

Гланц. Но механизм может и повредиться, сломаться, дать сбой — как любой механизм. Короче, другими словами, он может заболеть. *(Пауза.)* Макгрудер, тебе знакомо слово «парез»?

Макгрудер. Нет, сэр.

Гланц. И ты не знаешь, что оно означает и его проявления?

Макгрудер. Боюсь, что нет, сэр.

Гланц. Люди, которые имеют парез, — парализованы. Парез — это неврологическая форма сифилиса, влияющая на мозг.

Макгрудер *(со страхом в голосе).* Как он влияет на мозг, сэр?

Гланц *(берет в руку указку).* Он возбуждает воспалительный процесс, известный как сифилитический менингит. Это воспаление может

возникнуть в любом участке мозга, но потом локализуется *(показывает указкой)* здесь, в глубине, или здесь, в передней части.

Макгрудер. А что тогда происходит с человеком, сэр?

Гланц. Пациент лишается рассудка. *(Пауза.)* Сходит с ума, становится помешанным. *(Длинная пауза.)* Он становится душевнобольным.

Макгрудер. Господи! Сэр…

Гланц. Позволь нам еще кое-что спросить у тебя, Макгрудер. Ты когда-нибудь слышал о двигательной дисфункции?

Макгрудер. Нет, сэр. Что это такое?

Гланц. Двигательная дисфункция — это еще одна форма невросифилиса. Она разрушает спинной мозг *(тычет указкой)* здесь, мозговые нервы здесь и здесь, включая зрительный нерв, здесь.

Макгрудер. И что тогда бывает, сэр?

Гланц. Пациент не может передвигаться. Затем слепнет. И в конце концов его разбивает полный паралич.

Макгрудер. О Боже! *(Начинает щупать свои ноги и руки.)*

Гланц. Это коварная болезнь, Макгрудер, я расскажу тебе о ней. *(Пауза, он убирает карту, садится.)* Ты, наверное, думаешь, что мы все

это говорим, чтобы напугать? Но я тебя уверяю, наша цель не в этом. Макгрудер. Я надеюсь, вы извините меня за то, что я скажу, сэр, но это, без сомнения, испугало меня. Я страшно напутан! Гланц. Я не пытаюсь напугать тебя, просто хочу, чтобы ты осознал серьезность своего положения и наконец рассказал откровенно о своих сексуальных контактах. Факты говорят сами за себя. Ты можешь не признавать наличия ранних симптомов — шанкра или сыпи. Но мы вынуждены констатировать, что твоя болезнь уже миновала первую и вторую стадии и находится на завершающей — третьей стадии. Обычно это тяжелое состояние, которое я описал тебе, наступает через долгие годы, но бывает и такая форма, как быстротекущий сифилис, когда пациент быстро приобретает невросифилис или двигательную дисфункцию, а возможно, и то и другое сразу. И мне кажется, что у тебя именно такая перспектива. *(Пауза.)* Увы, вполне возможно, что… *(Он пожимает плечами.)*

Макгрудер. Это значит, что я умираю? Вы это хотите сказать, сэр? Что со мной случится все то, о чем вы сейчас рассказали? Боже, неужели у меня нет надежды? Совсем никакой?

Гланц *(немного растерянно и заметно мягче).*

Нет, нет, Макгрудер! Успокойся! Этого может и не случиться!

Макгрудер *(чуть не плача).* Но вы говорили об этом так уверенно, сэр! Боже, я не хочу сходить с ума! Не хочу, чтобы меня разбил паралич и я ослеп! Я не хочу умирать! Гланц. Пожалуйста, успокойся! Мы понимаем твои чувства. Этот страх понятен. Но ты должен помнить, что у нас есть лекарства, которые могут бороться с этой болезнью. *(Слегка улыбается.)* Конечно, если дело зашло не слишком далеко.

Макгрудер. Шестьсот шесть? Волшебное средство? Пятнадцать месяцев инъекций?

Гланц. Для новичка ты на редкость хорошо осведомлен, Макгрудер. Да, это средство применяется, и с успехом. Не забывай об этом. Мы бы хотели, чтобы ты покинул этот кабинет с оптимизмом в душе. Теперь ты свободен.

Макгрудер, дрожа и пошатываясь, направляется к двери кабинета.

Гланц. Ох, Макгрудер.

Макгрудер *(резко обернувшись).* Что, сэр?

Гланц *(дружелюбно).* Не падай духом!

Нетвердой походкой Макгрудер идет в палату, прямиком к своей кровати. Шварц отрывается от книги.

Шварц. Как дела, Уолли?

Макгрудер. Ужасно, Шварц. Ужасно! Хуже не бывает. *(Пауза, с удивлением.)* Я имею в виду этого Гланца. Он настоящий… *(Умолкает.)*

Шварц. Не доверяйся так доктору Гланду, Уолли. Он всем говорит, что они смертельно больны. Это его бзик.

Макгрудер *(достает листок бумаги и перьевую ручку).* Да, Шварц, я поверил ему. Он убедил меня, этот сукин сын!

Он начинает писать. Звучит радио. Передают мелодии кантри сороковых годов, отрывок из Баха — «Страсти по Матфею», военные сводки, новости. Макгрудер внезапно прекращает писать и медленно встает на ноги. Он сильно возбужден.

Шварц. Готов поспорить — письмо любимой. Мне ужасно стыдно, Уолли, я должен был написать своей жене на прошлой неделе. *(Макгрудер внезапно рвет письмо на части.)* Что случилось? Успокойся! Послушай, не надо паники!

Макгрудер *(кричит в сторону кабинета Гланца).* Ты не возьмешь меня этим, Гланц! Я не собираюсь умирать в этой вонючей, Богом забытой сучьей дыре. Ты слышишь меня, доктор Гланц?

Шварц. Успокойся, Уолли! Тихо! Ты не должен этого делать! Если он услышит, накажут всю палату! Тихо!

Макгрудер *(успокаиваясь).* Я не могу здесь находиться. Я на самом деле схожу с ума!

Шварц. Наберись мужества, Уолли. Надо держать себя в руках. Как сказал рэбби Вайнберг, выдержка — слуга толерантности.

Кларк *(поднимается на локтях).* Выдержка! Конечно! Дерьмо все это!

Шварц (в *ярости).* Заткнись! Боже, как ты воняешь сегодня! Я не могу выносить твой запах, он хуже, чем всегда! Когда же ты сдохнешь? *(Заламывает руки, возводит глаза.)* Прости меня! Нужно быть толерантным!

Кларк *(утомленно).* Это не от меня воняет. *(Показывает жестом на постель Чакли.)* Понюхай там. Он давно сдох и воняет, как покойник, как протухшая каракатица. *(Пауза.)* Его уже едят черви! Взгляните!

Его смех заполняет всю сцену. Макгрудер, Шварц и другие пациенты оборачиваются и смотрят безмолвно на неподвижное тело Чакли, свет на сцене медленно гаснет.

Акт второй
Сцена первая

Неделю спустя, раннее утро, за час до подъема. Линвивер отсутствует на своем посту, большинство пациентов спят. Макгрудер шевелится и медленно просыпается, садится на край кровати. Вскоре Шварц тоже просыпается и садится, зевая и потягиваясь.

Макгрудер. Который час?

Шварц. Шесть с минутами. Через полчаса подъем. *(Зевает.)* Я такой разбитый! Никак не мог уснуть.

Макгрудер *(тоже зевает).* Где Линвивер?

Шварц. Не могу сказать точно, но мне кажется, он обдолбался. Спит. Он обдолбался ночью и теперь спит в лаборатории. Однажды утром я заглянул и увидел его там — он спал, как ребенок, среди всех этих анализов мочи и грелок. Ему несдобровать, если доктор Гланц его засечет!

Макгрудер *(опять мучительно зевает).* Я тоже не выспался по-настоящему. Крутился и ворочался всю ночь, что мне только не снилось.

Шварц. Мало хорошего, наверное. Ты всю ночь

стонал и разговаривал во сне. Я не мог разобрать ничего из того, что ты говорил, кроме одного слова. Ха! Это забавно!

Макгрудер. Что это было за слово?

Шварц. Ты знаешь, что ты сказал? Ты сказал «Владивосток».

Макгрудер. «Владивосток»? Почему я это сказал?

Шварц. Не знаю, Уолли. Возможно, тебе это снилось. Владивосток находится в России, не так ли? Это очень далеко отсюда, верно? Это, возможно, то, что рэбби Вайнберг называет неудовлетворенным желанием. Знаешь, у рэбби есть ответы на все вопросы. Хочешь, я тебе прочту…

Макгрудер. Не надо рэбби этим утром, Шварц! Не надо больше Вайнберга! Пожалуйста! Боже, как я хочу вырваться из этой вонючей дыры!

Шварц. Успокойся, Уолли! Успокойся. Ты не один здесь застрял. *(Тянет руку к Макгрудеру, чтобы успокоить его, и начинает кашлять.)*

Макгрудер. Не прикасайся ко мне, Шварц! Убери руки!

Шварц *(успокаивает).* Уолли, Уолли, ты не заразишься туберкулезом от моего кашля. У меня больные почки! Успокойся. Приди в себя, Уолли!

Макгрудер *(смущенно).* Прости меня, Шварц.

Извини. Мне стыдно. О Господи. Если я не умру от паралича, то умру от ипохондрии. *(Пауза.)* Дело вот в чем! Если бы я понимал, что со мной происходит, я бы справился. Знание помогло бы мне справиться с этим. Например, вчера у меня был другой анализ крови. А я ничего не понимаю в анализах. В медицине я кретин.

Шварц. Ты хочешь сказать, что тебе надо знать больше о своей болезни? Прости меня, конечно, но когда речь идет о сифилисе, неведение — это счастье.

Макгрудер. Нет, я хочу разобраться в своем заболевании. Я должен знать, на какие симптомы и признаки надо обращать внимание. Возможно, эта информация даст мне надежду, что болезнь стабилизировалась, и мне, во всяком случае, не станет еще хуже. Пытался расспросить доктора Гланца, но не смог добиться от него ни слова утешения. Его интересует только одно: мои сексуальные контакты. Боже, я забыл! Сегодня он опять вызовет меня на беседу! Проклятие! Как мне надоел!

Шварц. Да, сэр, тут я с вами соглашусь. Доктор Гланц — твердый орешек.

Макгрудер (с *внезапной яростью).* Что у тебя за выражения, Шварц! Твердый орешек! Да в

нем нет ничего человеческого! Мне казалось, что доктор должен как-то облегчать состояние пациента, а не говорить так, словно ты — грязь под ногами, ничтожный червяк! Это не человек! Троглодит какой-то.

Шварц. Ты знаешь, иногда мне кажется, что врачи вынуждены быть черствыми. Чтобы обезопасить себя. Они видят столько боли, столько страданий. На самом деле мне кажется, что доктор Гланц очень толерантный и тонко чувствующий человек.

Макгрудер. Тонко чувствующий! Ради Бога, что ты такое говоришь! Шварц! Толерантный? Прекрати! Это все твоя еврейская солидарность! Он редкий урод. Мне так хочется заехать ему в челюсть. *(Пауза.)* Он напугал меня. Это я должен признать.

Шварц *(с неожиданным воодушевлением).* Слушай, у меня есть идея!

Макгрудер. Какая идея?

Шварц. Тебе нужна информация, тебе нужны знания, ты сам говорил.

Макгрудер. К чему ты клонишь?

Шварц. Книги! В кабинете доктора Гланца. Там множество книг с описанием твоей болезни, в них ты найдешь все, что хотел узнать.

Макгрудер. Да с каких это пор доктора раздают книги своим пациентам?

Шварц *(голосом заговорщика).* Нет, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что мы сами возьмем у него книги. Посмотри, кабинет открыт. Линвивер спит. Это не составит труда, Уолли!

Направляется к кабинету.

Макгрудер. Подожди, Шварц, ты что? Тебя посадят на десять лет за воровство, если какой-нибудь Линвивер на тебя донесет!

Шварц *(настойчиво).* Он не заметит, если мы возьмем их ненадолго. Я сразу верну их, как только он отлучится. *(Кивает головой в сторону кабинета.)* Не бойся, Уолли!

В то время как Шварц выходит, Кларк спускает ноги с кровати. Очевидно, что, несмотря на раннее утро он внимательно прислушивался к разговору.

Кларк *(слабым и болезненным голосом).* Как поживает твой сифилис сегодня?

Макгрудер *(подскакивает от неожиданности).* ЧТО?

Кларк. Спокойно парень! Ты перебудишь весь госпиталь. Что ты так дергаешься?

Слева на сцене в кабинете Гланца Шварц берет книгу и, перелистывая ее, делает пометки ка-

рандашом.

Макгрудер *(приходя в себя).* Ты испугал меня! Это первое слово, которое я услышал от тебя с тех пор, как попал сюда. Я не ожидал этого, только и всего. Вот и испугался.

Кларк *(посмеивается).* А ты неплохо выглядишь. Не так изможденно, как все эти насекомые вокруг. Мне кажется, ты еще немного поживешь, прежде чем твои спирохеты тебя доконают.

Макгрудер. Не шути так. Такие шутки, в таком месте не смешны *(отворачивается).* Предупреждаю сразу: я не потерплю от тебя всего этого дерьма, Лоренцо. Я не буду вторым Шварцем. Я не стану козлом отпущения, чтобы облегчить твои страдания.

Кларк. Нет, послушай, я хочу тебе кое-что сказать, белый мальчик. *(Останавливается, затем продолжает с трудом.)* Ты мне нравишься, ты на самом деле мне нравишься…

Макгрудер. Я не хочу тебе нравиться! Держись от меня подальше, Лоренцо! Оставь меня в покое!

Кларк. Но ты мне на самом деле нравишься. А вот жиденок не нравится. Хочешь знать, почему ты мне нравишься?

Макгрудер. Ну и?…

Кларк. Ты южанин. Я тоже южанин. Родился в Боливаре, штат Теннесси. Мы, парни с Юга, должны держаться вместе. Родились вместе, умрем вместе. Это равенство.

Макгрудер. Это чушь собачья, Лоренца За что ты так ненавидишь Шварца? За то, что он еврей?

Кларк. Да. А еще за то, что он боится признать, что тоже умирает. Мы, южане, знаем, что должны умереть. И он тоже должен умереть. Но он отказывается в это верить. Не признает правду.

Макгрудер *(сердито).* Что ты говоришь! Прекрасно он все понимает. Шварц очень болен. У него тяжелая форма туберкулеза почек. Каждый раз, когда он идет в туалет, он писает кровью. Он смертельно болен и живет в таком же страхе, как все остальные. Но умирать он не хочет. Мне кажется, ты ненавидишь его только за то, что он еврей. Почему ты так ненавидишь иудеев? Потому что они распяли Христа?

Кларк. Нет, парень, потому что они распинают негров. Все знают Оле Макклейна в моем родном Боливаре. Мистер Макклейн, владелец сети супермаркетов. Все наше имущество было куплено в кредит у Макклейна: холодильник, плита, мебельный гарнитур в гостиную и картина «Тайная вечеря» — яркая такая, как радуга. Но когда слу-

чился неурожай хлопка и отец не смог выплатить очередной взнос, мистер Макклейн забрал все обратно, выпотрошив дом подчистую. *(Пауза.)* Вот что делают евреи. Нот как они сдирают шкуру с негров. *(Он откидывается назад в изнеможении.)*

Макгрудер. Но послушай, Лоренцо, ведь не только иудеи обдирают черных, это делают все белые! Я имею в виду, что верю в эту твою историю насчет Макклейна, но как насчет других белых? Что они делают с цветными? Я имею в виду — пресвитериане, методисты, баптисты?

Линвивер. *(Заспанный и немного помятый, появляется с правой стороны, подхватывает последние слова Макгрудера и монотонно добавляет.)* Конгрегационалисты, методисты, мормоны, моравианцы, адвентисты Седьмого дня — что вы тут делаете вдвоем так рано? Совершенствуетесь в метафизике? *(Громко на всю палату.)* Итак, моряки, подъем, первый звонок. Через пять минут все встали!

Пациенты начинают двигаться, зевать.

Макгрудер *(с состраданием, словно пытаясь помочь негру совладать с раздражением).* Ты не понимаешь, как это глупо: все, что ты говоришь? Мы все здесь в одинаковом положении. Все попали в беду. Почему бы тебе не попытаться

полюбить и Шварца тоже, Лоренцо? Будет лучше для всех нас, если ты откажешься от бессмысленной ненависти к человеку, который ничего плохого тебе не сделал.

Кларк *(бессильно, но с чувством).* Я полюблю этого еврея в тот день, когда в жопе у осла расцветут розы! *(Макгрудер делает беззвучный жест отчаяния и отвращения.)*

Линвивер. *(Замечает Шварца с книгой, который поначалу пытается спрятать ее, но быстро понимает, что делать этого не стоит.)* Доброе утро, Шварц! Ты бодро выглядишь сегодня. *(Кладет руку ему на лоб.)* Температура спала. Хорошо. Покажи язык. *(Осматривает язык.)* Прекрасный язык. Что ты делаешь тут так рано?

Шварц. Мне не спалось. Я вышел почитать книгу.

Линвивер *(с любопытством).* Да? А что ты читаешь сегодня?

Шварц. Это еврейская книга. Что-то вроде поваренной книги евреев.

Линвивер *(дружески похлопывает Шварца по руке и отходит к своему столу).* У вас довольно вкусная еда, не так ли, Шварц? Я тебя не виню. Тем, чем вас здесь кормят, ребята, я бы не стал кормить капитана Бадвинкеля.

Слегка вздрагивает от своей смелой шутки. Затем берет со стола какие-то бумаги и таблицы и уходит со сцены налево. В то время как пациенты медленно просыпаются, Макгрудер и Шварц сидят рядом на своих кроватях и изучают книгу.

Шварц. Это самая большая книга, которую я смог найти про сифилис. И еще у нее самое длинное название.

Макгрудер. Как она называется?

Шварц. «Полный диагностический и терапевтический справочник по сифилису: руководство по определению и лечению сифилиса, приобретенному и врожденному, включая ранний сифилис, первичный и вторичный, поздний сифилис, невросифилис, менингитный сифилис, двигательная дисфункция и полный паралич. Составители: Мартин Макафи, Исидора Давидофф, Чарли П. Диксон».

Макгрудер. Не важно, кто написал это, Шварц. Что там сказано? Особенно о параличе? И двигательной дисфункции? Это я хотел бы знать в первую очередь.

Шварц *(со сдержанной радостью).* О, у меня есть хорошие новости для тебя, Уолли. На самом деле хорошие. *(Ищет в оглавлении.)* По-моему, это звучит довольно оптимистично.

Макгрудер. Оптимистично? Что ты имеешь в виду?

Шварц *(обращается к книге).* Хорошо, слушай сюда — вот о двигательной дисфункции. То, что касается прогноза. Вот. Здесь написано: «Около половины случаев стабилизируются, остальные прогрессируют». Разве это не оптимистично?

Макгрудер *(размышляет).* Нет, ради Бога! Что в этом оптимистичного?

Шварц. По крайней мере твои шансы: пятьдесят на пятьдесят.

Макгрудер. О да, Шварц, это известие меня осчастливило. Сума сойти! Почему бы нам не открыть шампанское и не выпить по этому поводу? *(Обхватывает голову руками.)* Скажи мне еще что-нибудь.

Шварц. Еще одна хорошая новость. Слушай. «Раннее интенсивное лечение улучшает прогноз». Это должно улучшить тебе настроение!

Макгрудер *(поднимает голову).* Но в этом-то все и дело, ты не понимаешь? Как мне знать, ради всего святого, ранний ли у меня сифилис? Ведь доктор Гланц сказал, что у меня все запущено.

Шварц. Да, это правда, Уолли. К этому надо быть готовым. Однако пятьдесят процентов — неплохой шанс. Не так уж и плохо. Макгрудер. Хорошо,

допустим, завтра у меня появятся все симптомы, но мне повезет, и он не станет прогрессировать. Что хорошего ждет меня в этом случае?

Шварц *(в ужасе от страшного открытия, колеблется).* О, Уолли…

Макгрудер. Читай, Шварц, черт побери! Я не боюсь узнать. Вперед! Читай! Чем грозит двигательная дисфункция?

Шварц *(читает медленно, с внутренним сопротивлением).* «Неспособность передвигаться в темноте или держать равновесие с закрытыми глазами — симптом Ромберга. Характерна неустойчивая, шаткая походка. Больной передвигается, раскидывая ноги, голова наклонена в сторону, взгляд упирается в землю. Движения при ходьбе несоразмерные, слишком высоко поднимается нога при шаге, слишком резко опускается вниз». *(В то время пока Шварц читает, Макгрудер с ужасом в глазах маниакально повторяет все симптомы, двигаясь странной походкой между кроватями.)* Внезапная остановка или поворот вызывают затруднения и иногда заканчиваются падением. Необходимо передвигаться на костылях до тех пор, пока ходьба еще возможна, затем пациент проводит оставшуюся часть жизни в неподвижном состоянии, которое сопро-

вождается недержанием, слепотой, импотенцией и параличом».

Макгрудер *(прекращает свою пантомиму и падает на кровать).* Боже, вот это утешение!

Шварц. Послушай, Уолли! Здесь еще вот что написано: «Двигательная дисфункция почти никогда не заканчивается смертью». Ты слышал? «Почти никогда не заканчивается смертью». Потом вот что: «Многие пациенты живут двадцать — двадцать пять лет и даже больше».

Макгрудер. Двадцать пять лет в постели, писать в пижаму, быть парализованным слепым импотентом.

Макгрудер и Шварц смотрят друг на друга без слов. Входит Линвивер.

Линвивер *(пересекает палату).* Последнее предупреждение, парни! Живо-живо! Встаем, встаем, ребята. Вас ждет королевский завтрак. Горячие бутерброды, рисовые хлопья, овсянка или «Завтрак чемпиона», на ваш выбор. Личный осмотр через десять минут! *(Поворачивается к Дадарио.)* Я буду скучать, Дадарио! Мне будет так не хватать тебя в этом цветнике!

Дадарио стоит отдельно от всех этим утром, он готовится к уходу, укладывает вещмешок.

Дадарио. Я тоже буду скучать по тебе, Линви-

вер. Ты был просто лапочкой по сравнению с остальными.

Линвивер *(к пациентам).* Попрощайтесь с Дадарио. Парни! Пожелайте счастливого пути свободному человеку! *(Пациенты прощаются с Дадарио, машут руками, каждый на свой манер. Он направляется к двери, ухмыляясь, оборачивается, показывает «V» — как знак победы. Линвивер опять обращается к пациентам.*) Вот он уходит, парни. В полном здравии! Ходячее доказательство чуда врачебной науки, триумфальной победы над гонококками. Получилось у Дадарио, получится и у вас!

Макгрудер *(смотрит, как Дадарио и Линвивер выходят; Линвивер направляется в кабинет к доктору Гланцу).* Хотел бы я поверить в это. *(Оборачивается к Шварцу.)* Что там написано о парезе, Шварц? Меня это просто пугает. Конечно, ужасно быть парализованным и ослепнуть, но безумие… *(Он пожимает плечами.)*

Шварц. Очень хорошие новости о парезе, Уолли! Превосходные новости! *(Пауза, он из последних сил старается оправдать свой оптимизм.)* Возможно, не такие хорошие новости, как о двигательной дисфункции, но все же они дают какую-то надежду.

Макгрудер. И что там написано?

Шварц. Вот, послушай. «Изредка случается ремиссия; бывают случаи, когда больной может даже вернуться к прежней деятельности». Ну, что скажешь? У тебя может быть ремиссия. Это почти то же самое, что выздоровление.

Макгрудер. Но разве там не сказано «изредка»?

Шварц. Да, сказано.

Макгрудер. Ты разве не знаешь, что означает слово «изредка»?

Шварц. Конечно. Нечасто.

Макгрудер. И ты называешь это хорошими новостями?

Шварц. Конечно, Уолли. Это лучше, чем «никогда».

Макгрудер *(стонет).* Что там сказано насчет симптомов?

Шварц *(снова колеблется).* Уолли, Уолли! Зачем тебе это? Это так мучительно. Все равно что ковыряться в ране…

Макгрудер. Продолжай, прочти мне это, Шварц. Пожалуйста! Мне лучше знать.

Шварц *(начинает читать).* «Наиболее часто первые психические симптомы заметны в таких проявлениях, как чистоплотность и аккуратность в одежде». *(Шварц поглядывает на Макгрудера,*

который нервно одергивает свою больничную робу, приглаживает волосы и начинает вычищать грязь из-под ногтей.) Больной боится потерять состояние, работу, семью, навыки самообслуживания. Пациенту кажется, будто все стремятся его обворовать. С другой стороны, появляется болезненное самомнение, он начинает считать себя божеством, владельцем бесценных сокровищ, прекрасных женщин и сказочного богатства. *(Пауза, поднимает глаза.)* Я никогда не слышал, чтобы ты хвастался чем-нибудь таким. Разве что своей девушкой. Во всяком случае, ты никогда не вел себя как наследный принц.

Макгрудер *(очень нервно).* Пока нет. Продолжай.

Шварц. Развиваются серьезные проблемы с речью. Например, больному становится трудно произносить согласные буквы «Л» и «Р». Следовательно, ему трудно выговорить фразы типа «Карл у Клары украл кораллы», или «Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали», или «Тридцать третья артиллерийская бригада». «Методистская епископальная».

Линвивер *(выходит из кабинета доктора Гланца и быстрым шагом пересекает палату).* Внимание, парни, через пять минут осмотр. Мак-

грудер, доктор Гланц ждет тебя в одиннадцать у себя в кабинете для продолжения разговора о твоей половой жизни. *(С неожиданной симпатией.)* У него есть результаты твоего вчерашнего анализа крови. Реакция Вассермана показывает уже не три, а четыре креста. Невероятно! Больше не бывает. *(Сочувствуя.)* Мне искренне жаль, сынок. Я очень сочувствую тебе. *(Разворачивается и уходит в сторону двери кабинета Гланца.)* Венерические больные, приготовьтесь к осмотру.

Гланц. Спасибо, Линвивер.

Макгрудер *(стоит в прострации, упершись невидящим взглядом в Шварца).* Каждую секунду, каждую минуту, каждый час: как же быстро они размножаются, эти жалкие маленькие спирохеты! *(Пауза, а затем с яростью.)* Если бы мне удалось победить их! Если бы я смог увидеть врага! Я чувствую, что у меня был бы шанс! Но эти маленькие ублюдки живут во мне, роют норы, как шайка отвратительных микроскопических крыс, и я не могу справиться с ними. *(Пауза.)* И знаешь, что еще, Шварц?

Шварц. Что?

Макгрудер. Ничего мне не поможет. Никакие таблетки! Никакие лекарства! Я закончу жизнь бессвязным идиотом, привидением в палате для

умалишенных. Я могу уже представить эти дни и ночи — ужас! — мой язык больше не сможет произносить слова, и я буду лепетать как младенец. *(Пауза.)* Что это были за скороговорки, Шварц?

Шварц *(читает).* Вот смотри. Вот. «Карл у Клары…»

Макгрудер *(повторяет с начала медленно, потом быстрее и, в конце концов, яростно и очень быстро).* Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы. Карл у Клары украл кораллы.

Шварц. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.

Макгрудер. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали!

Шварц. «Тридцать третья артиллерийская бригада».

Макгрудер. «Тридцать третья артиллерийская бригада».

Шварц. Методистская епископальная…

Свет гаснет.

Сцена вторая

Утро того же дня. Одиннадцать часов. Кабинет доктора Гланца. Макгрудер застыл у дверей в кабинет, в то время как доктор Гланц объясняет

действие механизма капитану Бадвинкелю, который сидит за столом.

Гланц. Это замечательное новое изобретение для записи человеческого голоса, сэр. Называется магнитофон. Он имеется только у нескольких специалистов.

Бадвинкель *(с большим пиететом).* О да. Я слышал о нем.

Гланц. Война — поразительный вид человеческой деятельности, сэр. С одной стороны, она порождает социальные недуги — такие, например, которыми страдают наши юные, сбившиеся с пути пациенты. *(Бадвинкель кивает.)* Но есть и позитивная сторона: война способствует бурному росту технического прогресса. Давайте подумаем о возможностях в послевоенные годы, когда механизмы, подобные этому, станут доступными и простыми в использовании, а это произойдет обязательно! Подумайте о том, с какой легкостью мы сможем записать первый крик появившегося на свет младенца, речь президента или многочасовую лекцию доктора Норманна Винсента Пила.

Бадвинкель. Грандиозно! Победа разума! Расскажите мне, однако, доктор Гланц, как этот механизм может быть использован на практике при лечении венерических больных?

Гланц. Вы же знаете, сэр: большинство венерических больных — неисправимые лгуны. Эта машина поможет им встать на путь правды. Пациенты будут тщательнее подбирать слова, если будут знать, что их ответы станут предметом тщательного изучения.

Бадвинкель. Великолепно. Расскажите, как это выглядит на практике.

Гланц. Вы сейчас увидите сеанс с нашим молодым сифилитиком Макгрудером. Сегодня у нас первая фаза эксперимента — обзор.

Бадвинкель. Обзор?

Гланц. Обзор, сэр. Изучение мотивации, психологии, биологических аспектов характера полового поведения пациента. Эта более абстрактная часть исследования позволит нам подойти ко второй, практической части. Ее мы называем Молниеносной фазой. В Молниеносной фазе, если вы позволите нам эту шутку, сэр, мы подберемся к причинному месту в ситуации. Но сначала первая фаза — обзор. Макгрудер, входи и садись! *(Макгрудер входит в кабинет и садится напротив доктора Гланца и Бадвинкеля).* Мы предполагаем, что Линвивер рассказал тебе о реакции Вассермана, мой мальчик.

Макгрудер. Да, сэр.

Гланц включает магнитофон.

Гланц. Это означает, что ты страшно болен. Тем не менее ты должен собрать всю свою волю и честно все рассказать нам. Мы запишем твою историю с помощью этой машины. Если ты скажешь правду, возможно, нам удастся спасти твою жизнь. Ты все понимаешь?

Макгрудер. Да, сэр.

Гланц *(просматривает какие-то записи).* Первое, как мы помним… ты утверждаешь, что имел сексуальный контакт только, цитирую, с двумя женщинами, одна из которых, снова цитирую, старше тебя, а вторая, опять же твои слова, молодая девушка. Все правильно?

Макгрудер. Я думаю, да.

Гланц. Что значит «я думаю»?

Макгрудер. Я запутался во всех этих цитатах, сэр.

Гланц. Хорошо. Что мы хотим знать, так это с кем ты имел первую сексуальную связь: со взрослой женщиной или с девушкой?

Макгрудер. С моей девушкой, сэр.

Гланц *(терпеливо).* Значит, так, Макгрудер — мы не настаиваем, чтобы ты описывал физиологические подробности вашей связи. Это не нужно — во всяком случае, сейчас. Все, что

нужно, — это чтобы ты описал, как у вас все начиналось, какие события привели к акту соития. Расскажи про обстоятельства, при которых вы познакомились. Мы полагаем, причиной было сильнейшее эротическое влечение.

Макгрудер. Нет, сэр. Причиной была поэзия.

Гланц. Поэзия?

Макгрудер. Нет, сэр, нас, конечно, очень тянуло друг к другу. Но это было не главное — во всяком случае, поначалу. Как я сказал, сначала была поэзия. Остальное пришло потом.

Гланц. Милое объяснение *(возится с магнитофоном)*.

Макгрудер. В институте мы с Энн, так зовут мою девушку, посещали курс английской поэзии. Мы были просто без ума от стихов.

Гланц. Какие стихи? Эротические? Или вирши Уитмена?

Макгрудер. Да, сэр. Забавно, что вы угадали. Уолт Уитмен, Шекспир, Ките и…

Гланц *(прерывает).* Уитмен, Шекспир, Ките… Три английских педика. Отличный выбор, чтобы пробудить в себе мужчину.

Макгрудер. Уитмен — американец, сэр.

Бадвинкель. Не важно, все они педики. В Англии все ненастоящее. Даже клубника там

ненастоящая. Только один поэт в Англии избежал педерастии — Киплинг.

«Вот вам Джунглей Закон — и Он незыблем,
как небосвод.
Волк живет, покуда Его блюдет; Волк,
нарушив Закон, умрет.

Как лиана сплетен, вьется Закон,
в обе стороны вырастая:
Сила Стаи в том, что живет Волком,
сила Волка — родная Стая».

Если бы ты читал такие стихи, как эти, то не попал бы в передрягу, как сейчас.

Гланц. Отлично сказано, сэр. Продолжай, Макгрудер.

Макгрудер. Хорошо, сэр. Я думаю, это был один из вечеров, когда мы вместе читали стихи — субботним вечером. Началась гроза, и мы с моей девушкой бежали через поле и укрылись в старом разрушенном табачном сарае, и это был тот вечер, когда я понял, что люблю ее. И она любила меня. Это был первый раз у меня, первый раз, когда я занимался любовью с кем-то, и это как-то смешалось с поэзией, которую мы обсуждали.

Мне кажется, что это было похоже на какой-то религиозный экстаз…

Бадвинкель. Мне кажется, что у тебя это и впрямь мог быть религиозный экстаз, друг мой. Но у большинства американцев акт совокупления не вызывает столь возвышенных чувств.

Гланц. Очень хорошо, Макгрудер, ты идеалист. И к тому же религиозен. Но ты упускаешь одну важную деталь. *(Пауза.)* Итак, скажи, была ли твоя девушка девственницей?

Макгрудер. О да, сэр. Я точно знаю, что была.

Гланц. Очень хорошо. Мне нужно было только, чтобы ты сам сказал это. Значит, вот так начались ваши отношения, которые, по твоим словам, сопровождались, цитирую, многочисленными актами, конец цитаты. Что мы хотели бы знать теперь, так это как долго продолжались ваши отношения?

Макгрудер. Сэр, они продолжаются до сих пор. Они не прерывались.

Гланц. Замечательно.

Макгрудер. Мы общались весь следующий год до лета. Затем она должна была уехать. Ее родители поехали в отпуск на море и взяли Энн с собой.

Гланц. И ты остался один. *(Пауза.)* Один. Не имея возможности реализовать свои естествен-

ные сексуальные потребности.

Макгрудер *(мрачно).* Да, сэр, можно так сказать. Если вам так угодно.

Гланц. Правильно ли мы понимаем, что именно эти обстоятельства заставили тебя вступить в отношения со «взрослой женщиной», как ты ее называл, с той, с кем ты имел половой контакт?

Макгрудер. Это правда, сэр.

Гланц. Пожалуйста, расскажи в подробностях о ваших отношениях…

Бадвинкель *(прерывая).* Минутку, доктор. *(Макгрудеру.)* Из всего тобой сказанного я понял, что ты очень любишь свою девушку. Правда?

Макгрудер. Да, сэр. О да, сэр.

Бадвинкель. До меня, может быть, с трудом доходит, Макгрудер. Может быть, я плохо соображаю. Возможно, я просто дурак. Поправь меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Но одним из важных аспектов любви между мужчиной и женщиной является верность, не так ли? Палуба должна быть чистая и на носу и на корме, все должно сиять на корабле? *(Пауза.)* Я не собираюсь осуждать тебя за добрачные сексуальные связи, но, по моему разумению, это дело отвратительное. С чем я на самом деле не могу примириться, и я хочу это громко и ясно заявить, так это с тем,

что ты изменил своей девушке во время ее летних каникул! *(Откинулся в свое кресло с довольным видом.)*

Макгрудер *(болезненно переживая обвинение, все же пытается протестовать).* Но, сэр, если вы позволите мне объяснить…

Гланц *(строго).* Тогда объясни, Макгрудер! Подробно!

Макгрудер. Тем летом по вечерам делать было особенно нечего, и время от времени мы с приятелем — его зовут Рой Девис, — мы брали пиво и ехали на машине его отца по дороге в сторону кладбища, где темно и тихо. Однажды вечером мы сидели там и пили пиво, когда напротив нас остановилась машина. В ней были две взрослые женщины — до этого шел дождь, но потом выглянула луна, и мы могли видеть их в свете луны, — они смеялись и тоже пили пиво. Они уже прилично набрались. Мы с Роем крикнули им «Привет», и они ответили нам «Привет», и мы громко смеялись, и вскоре они вышли и сели к нам в машину. Они оказались работницами хлопчатобумажной фабрики. Многие люди в нашем городке смотрят свысока на этих работниц и называют их гусеницами.

Да, сэр. Они работают на ткацких станках и

машинах, и нитки запутываются у них в волосах, и они становятся похожи на кокон. Вот почему их называют гусеницами.

Гланц. Это женщины из низшего класса, не так ли? Ниже того, к которому принадлежишь ты. Судя по твоему досье, ты, можно сказать, выходец из среднего класса.

Макгрудер. Да, сэр, можно сказать так.

Гланц. Как их звали? Не обязательно знать имена обеих, скажи, как звали твою гусеницу.

Макгрудер. Это смешно звучит, сэр, но я не знаю, как ее зовут. Однако я слышал, как ее подруга сказала: «Он похож на твоего мужа. Просто вылитый Том Янси!» Поэтому с той ночи я вспоминаю о ней, как о миссис Янси.

Гланц *(в микрофон).* Миссис Янси. *(Макгрудеру.)* Что было потом?

Макгрудер. Да особенно не о чем рассказывать, сэр, — кроме того, что мы дурачились и шумели в машине, все четверо, и я напился пива и, надо признаться, сильно возбудился. Мне было хорошо и чего-то хотелось. И миссис Янси была рядом. Мы шутили, играли. Она возбудилась, она просто не могла остановиться! Она стала целовать меня, ласкать, возбуждать, и я стал ласкать ее, и это очень ее завело. *(Пауза.)* И вот, сэр, мы с миссис

Янси выбрались из машины и пошли на кладбище, где занялись любовью. На могильной плите.

Гланц. Прямо на могильной плите? О Боже.

Макгрудер. Да, сэр, потому что земля была очень сырая. Поэтому мы выбрали одну из горизонтальных плит. Я помню, что там было написано чье-то имя — вроде Маккоркл.

Гланц. Ты имел только один контакт с этой женщиной. Почему же только один, если припомнить твои непомерные… как же это назвать… сексуальные аппетиты?

Макгрудер. Потому что миссис Янси отключилась, сэр. И к тому же опять пошел дождь.

Гланц *(делает какие-то пометки, роется в бумагах, а затем обращается к Макгрудеру с большой серьезностью).* Итак, Макгрудер, после этого грязного сношения — этой омерзительной возни — ты с абсолютным спокойствием и хладнокровием возвращаешься в объятия своей возлюбленной. Неужели тебя не мучило чувство вины за содеянное?

Макгрудер. Да, сэр, если честно, мучило. Я вспоминал ту ночь много раз. *(Длинная пауза.)* Я отчего-то страшно возбудился тогда. Больше это не повторялось. Думаю, Энн поняла бы меня. Она очень разумная.

Гланц. Если ты не чувствуешь вину за предательство, может быть, ты почувствуешь ее за что-нибудь худшее?

Макгрудер. Что вы хотите этим сказать, сэр?

Гланц. Если, как ты сам сказал, ты лишил свою девушку невинности, то вряд ли ты заразился от нее. Она была чиста. А ты самым банальным образом мог подхватить свою инфекцию от той взрослой женщины во время ваших безумств на кладбище. И с вероятностью почти в сто процентов ты, в свою очередь, заразил свою девушку.

Макгрудер. Но, сэр…

Гланц. Надо смотреть правде в глаза, Макгрудер. Что сделано, то сделано. И с твоим быстрым и проницательным умом ты должен был в глубине сознания понимать эту страшную опасность.

Макгрудер *(отчаянно).* Вы думаете?…

Гланц *(твердо).* Да. *(После маленькой паузы.)* И также, как эта болезнь развивается в тебе, она развивается в этой невинной, ничего не подозревающей девочке.

Макгрудер. О Господи! *(Пауза.)* Может быть, в глубине сознания… *(Плачет.)* Но я не хотел никому причинить вреда. Никому! Особенно ей!

Бадвинкель. Почему ты плачешь, Макгрудер? Ради всего святого, прекрати это. Оооо! После ше-

сти лет мужчина не должен плакать. У меня бегут от этого зрелища мурашки. Прекрати плакать. Что ты разнюнился, как девчонка? *(Макгрудер продолжает беззвучно плакать, уткнув лицо в ладони, потом оглядывается в отчаянии по сторонам.)*

Гланц. Ты что — не слышал приказ капитана? Прекрати плакать, Макгрудер! Мы требуем, чтобы ты прекратил плакать!

Они с Бадвинкелем стоят над Макгрудером, уговаривая его перестать плакать, а тот молча смотрит в пространство, ничего не говоря, и беззвучно плачет. Сцена уходит в темноту при словах «Мы требуем, чтобы ты прекратил плакать!».

Акт третий
Сцена первая

Несколькими днями позже. Позднее утро. Макгрудер сидит в одиночестве и пишет письмо. В углу сцены вовсю идет игра в карты. Игроки — Станцик, Макдэниел и другие. Лаконичный диалог игроков: «Бей меня», «Ну, держись», «Бей еще». Это первое, что слышно после того, как поднимается занавес. Шварц отсутствует, а Кларк лежит в своей постели с привычно безнадежной и бессловесной безучастностью. В кабинете доктора Гланца стоит Линвивер в ожидании инструкций от доктора, который сидит за столом. Макгрудер откладывает карандаш и тетрадь, встает и направляется к туалетной комнате. По ходу движения спотыкается о керамическую грелку, стоящую на полу, и выходит налево.

Гланц. Его выпишут в понедельник. *(Линвивер держит конверт.)* На этом все, Линвивер.

Линвивер. Так точно, сэр. *(Разворачивается и выходит из кабинета, входит в палату и подходит к игрокам.)* Станцик, у меня для тебя хорошие новости. *(Станцик и двое других поднимают го-*

ловы!) Твой красавец больше не течет, мазок на гонококки отрицательный, простата первосортная, сперма, о которой можно только мечтать, уретра восхитительная, придаток яичка выиграл золотую медаль на конкурсе придатков — и ты выйдешь отсюда в понедельник. Вот приказ на твою выписку.

Станцик *(яростно),* Я говорил тебе, что я выиграю, Макдэниел? Я говорил, что избавлюсь от этих микробов и выйду отсюда на следующей неделе. Гони мои пять баксов!

Макдэниел *(возвращается к картам).* Двадцать один. Плати сам. *(Обыденным тоном.)* Я вычту из твоего карточного долга, Станцик. Ты должен мне двести двадцать тысяч долларов. Минус пять.

Линвивер. Поздравляю тебя, Станцик.

Станцик *(глядит в бумаги).* Да, все правильно. Меня выписывают! *(Оглядывается с торжествующим видом.)* Я не могу дождаться освобождения. Я не могу дождаться, когда доберусь до Норфолка и разыщу девку, с которой я познакомился…

Линвивер *(прерывает).* Надеюсь, тебе есть на что жить, Станцик. Потому что тебе придется оплатить расходы на лечение. Ты и за пять лет не расплатишься. Ты будешь сидеть в долговой тюрьме, даже когда кончится война и все вер-

нутся домой.

Станцик. О Боже, я забыл об этом!

Линвивер. Что касается интрижки с какой-нибудь девкой, я могу тебе сказать, Станцик, что ты удивительный, потрясающий феномен. Ты идешь наперекор матушке Природе. Язвенники не могут думать о еде, парни с вывихом ступни содрогаются при мысли о прогулке, те, у кого ларингит, не мечтают о том, чтобы поговорить. Все, кого я видел здесь, и думать не могли о сексе, как будто они евнухи. Но ты, Станцик, ты — уникум! Клянусь Богом! И в будни, и в праздник, когда шел дождь и когда сияло солнце, со страшным диагнозом в руках, ты всегда, когда я тебя слышал, говорил только о заднице. Я не считаю тебя примитивным, я отношу это к твоей жизненной силе или чему-то такому…

(С левой стороны сцены входит Макгрудер и направляется к кровати.)

Макгрудер *(шепчет с отчаянием в голосе).* Методистская епископальная! *(Подходит к своему стулу, тяжело садится, обхватив голову руками.)*

Линвивер *(увидев Макгрудера, направляется к нему).* Как ты, сынок?

Макгрудер *(печально поднимает глаза).* Анализ

крови? Какой он сегодня?

Линвивер. Прости, я хотел бы успокоить тебя. Но он все еще на верхнем пределе. *(Пристально смотрит на него.)* С тобой все и порядке? Ты выглядишь немного взволнованным. *(Щупает его лоб.)* Хмм… Лоб горячий. Надо померить температуру. Как ты себя чувствуешь?

Макгрудер. Не очень хорошо, если честно. Голова болит, везде ломит… И еще одно… жутко кровоточат десны.

Линвивер. Открой рот. *(Осматривает.)* Ммм… Действительно. Довольно воспаленные.

Макгрудер. Они сейчас не кровоточат, но, Боже, когда я чищу зубы… *(Умолкает, потом с новым приступом тревоги в голосе.)* Вы не думаете, что это — я имею в виду… *(Запинается.)* Как вы думаете, что это значит?

Линвивер. Я не знаю. Я просто не знаю. Нам лучше это проверить. *(Идет направо с обеспокоенным видом.)* Лучше проверить. *(Выходит.)*

Кларк *(приподнимется на локтях на кровати, посмеивается).* Это все маленькие живчики внутри тебя. Маленькие спирохеты, они поднимаются все выше и выше. Теперь они у тебя во рту. А скоро они доберутся сюда. *(Дотрагивается до лба?)* И тогда — каюк! Хи-хи.

Макгрудер понимает, что сказал Кларк, смотрит на него, но не реагирует, садится писать письмо. Спустя мгновение он внезапно сминает письмо, бросает его через палату в стену и вскакивает с яростью.

Макгрудер *(говорит в сторону Кларка, но в действительности его гнев направлен на себя самого).* Да, я соврал ей. Я не только мешок с дерьмом. Я еще подлый, ничтожный лгун. Все потому, что у меня нет смелости, нет духу, чтобы сказать ей правду. *(Пауза, его страдание возрастает.)* Правду! Как сказать эту правду? Как сказать человеку, что ты заразил его страшной болезнью? Я должен был рассказать ей, но как было найти слова? Это ужасно! *(Пауза.)* И эта проклятая миссис Янси! Я бы написал ей, если бы знал ее адрес! Я бы написал ей и сказал, чтобы она прекратила шататься по кладбищам и заражать людей!

Кларк *(медленно, вяло, безучастно).* Чертовы спирохеты. В них вся проблема. Страшная проблема.

Макгрудер *(начинает писать, рвет письмо, потом опять принимается писать. Затем роется в кармане своей робы в поисках кошелька, лихорадочно роется в другом кармане, обнаруживает, что кошелька нет.)* Мой кошелек! *(Кларку.)* Мой

кошелек! Мой кошелек с ее фотографиями! *(Перерывает свой рюкзак, смотрит под матрацем, ищет под кроватью.)* Мой кошелек! Он пропал!

Кларк. Сколько там было денег, белый мальчик?

Макгрудер. Я не знаю. Немного. *(У него в голосе отчаяние.)* Немного! Пять долларов, может быть, шесть. Но дело не в деньгах. Там были ее фотографии! Снимки моей девушки! Там было три фотографии. И они пропали!

Кларк *(делает ему знак рукой).* Подойди сюда. Я хочу тебе кое-что сказать. *(Говорит тоном заговорщика.)* Слушай внимательно, что я скажу тебе.

Макгрудер. Что?

Кларк. Я видел, кто взял твой кошелек, своими собственными глазами.

Макгрудер. Кто же это? Кто взял его?

Кларк. Его взял еврейчик.

Макгрудер *(отшатывается, скептично).* Шварц? Шварц взял мой кошелек? Ты сошел с ума, Лоренцо! Шварц не мог этого сделать!

Кларк. Я говорю тебе! Клянусь Богом трижды и готов за это пойти прямо в ад, если Шварц не украл твой кошелек. *(Его голос слабеет, говорит с убеждением и страстью.)* Это был он!

Макгрудер *(все еще недоверчиво).* Когда ты видел, что Шварц крал у меня кошелек? Не ври. Я знаю, ты ненавидишь его, но не наговаривай на невинного человека!

Кларк. Он украл его прошлой ночью. Поздно ночью я видел, как он украл его. Я не спал прошлой ночью и видел, как еврей подошел и украл его. Он подошел, вытащил его из твоей робы и ушел к своей кровати. Еврей — вор.

Макгрудер *(с меньшим сомнением).* Я не могу в это поверить. *(Пауза.)* Я просто не могу поверить, что такой человек, как Шварц, способен украсть. *(Продолжает обыскивать свою кровать.)*

Кларк *(доверительным тоном).* Это всем известно. Евреи любят деньги.

Макгрудер *(протестуя).* Пошел ты, Лоренцо, знаешь куда! Это глупость. Большей нелепицы…

Кларк *(прерывая).* Позволь мне сказать тебе что-то. Кто еще мог украсть его, кроме еврея? *(Показывает на три кровати.)* Вот ты. Вот он. Вот я. Я не могу и шагу ступить. Кроме нас, никого рядом нет. Поэтому никто, кроме еврея, не мог его украсть. Ха-ха. Разве что только ты сам у себя его украл.

Макгрудер. *(Пауза, потом он начинает видеть определенную логику в том, что говорит Кларк.)*

Но я просто не могу согласиться, что такой человек, как Шварц, может…

Кларк. Я не вру тебе, белый мальчик. Как знаешь. Хочешь верь, хочешь нет. Мне без разницы!

Кларк отворачивается. Когда он произносит последнюю фразу, в палате появляется Шварц и подходит к Макгрудеру. Заметно, что он ослабел — движения замедленные, походка неровная.

Шварц. Привет, Уолли. Как ты себя чувствуешь, Уолли?

Макгрудер *(холодно).* Спасибо, не очень хорошо.

Шварц *(не обращая внимания на тон Макгрудера).* Да, и я тоже. У меня был очередной осмотр утром. Знаешь про эти боли, что начались у меня вчера ночью? *(Выглядит испуганным.)* Знаешь, они говорят, что моя болезнь прогрессирует. Прогрессирует!

Макгрудер *(холодно, сухо).* Шварц, я хочу с тобой кое о чем поговорить.

Шварц. Конечно, Уолли. О чем?

Макгрудер. Ты видел мой кошелек? Он пропал.

Шварц. Твой кошелек? Ты имеешь в виду, видел ли я когда-нибудь твой кошелек? Ну как же, я видел его недавно. Когда ты рассматривал фотографию своей девушки.

Макгрудер. Нет, не недавно, я имею в виду… с прошлой ночи… ты его видел?

Шварц. Нет, Уолли, честно говоря, не видел.

Макгрудер. Шварц, мне неприятно это, но я хотел спросить. Ты брал мой кошелек?

Шварц *(так шокирован, что какое-то время не в силах произнести ни слова).* Я украл твой кошелек? Я украл твой кошелек?!

Макгрудер *(очень возбужденно).* Я не сказал — украл! Я сказал — взял! Я не обвиняю тебя в воровстве. Может быть, ты просто взял его. Просто взял, понимаешь? Взял его, чтобы занять у меня пять долларов, чтобы купить что-нибудь в лавке, и не хотел будить меня, чтобы спросить. Что-то вроде этого. Я не обвиняю тебя в воровстве, просто ты мог взять его. Где он, Шварц? Верни мне его!

Шварц *(с негодованием).* Нет! Я не прикасался к твоему кошельку! Что ты такое говоришь? Я никогда ничего не украл за свою жизнь. *(Приближается обиженно к Макгрудеру.)* Кроме той долбаной книги, которую я украл для тебя!

Макгрудер. Не дыши на меня! Признайся, что ты украл этот кошелек!

Шварц. Я не дышу на тебя! *(Приближаясь еще.)* И я не крал твой чертов кошелек! Только такой урод — грязный подонок, дегенерат с Юга мог об-

винить невинного человека в подобной низости! *(Наступают друг на друга, сжав руки в кулаки.)*

Кларк. Эй, жиденок! Будь толерантным! Эй-эй!

В это время на сцене появляется Линвивер и пытается остановить ссору.

Линвивер. Прекратите! Что тут происходит? Никаких драк среди больных. Приказ доктора Гланца. *(Он становится между ними и осторожно оттесняет Макгрудера.)* Хотя это интересная идея. Сражение между сифилитиком и чахоточным. *(Макгрудеру.)* Успокойся, сынок. Они нашли твой кошелек в прачечной. *(Протягивает ему кошелек.)* Он был в твоей робе. Есть еще честные парни в американском флоте.

Линвивер уходит со сцены налево.

Длинная пауза, полная неловкости.

Макгрудер. Ты должен простить меня, Шварц. Как я могу загладить свою вину за все, что наговорил тут? *(Направляется к кровати Кларка.)* Ты! Ты, Лоренцо! Ты, черномазый сукин сын!

Кларк. Ха-ха!

Шварц *(сидит подавленный).* Не надо, Уолли! Не стоит даже произносить его имя. Я должен был догадаться, откуда ветер дует. Я забыл, на что он способен. *(Обращается к Кларку.)* Но ты — настоящий дьявол. Я еще не встречал такой

черной души.

Кларк. Ха-ха!

Шварц. Кларк!

Кларк. Что тебе нужно, жиденок?

Шварц. Послушай, Кларк, почему ты никогда не называешь меня по имени? Это же не трудно! Я же называю тебя по имени! Я не называю тебя черномазым. Я зову тебя Кларком, ты, черномазый. *(Кларк смеется.)* О, парень, если есть в мире человек, которого стоит назвать черномазым, так это ты, Кларк, ты, черномазый ниггер!

Кларк. Жиденку не нравится, когда его называют жиденком, кому бы это понравилось — быть жидом!

Макгрудер. Прости меня, Шварц. Я так виноват перед тобой. Надеюсь, ты примешь мои извинения.

Шварц. Тебе не нужно извиняться, Уолли. Я понимаю. Я тоже прошу прощения за то, что наговорил тебе. *(Пауза, он молча смотрит на него.)* Когда ты обвинил меня, я вдруг подумал: «Это его болезнь виновата». Я сказал себе: «Это связано с его заболеванием».

Макгрудер *(с мрачным предчувствием).* Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду, Шварц, говоря, что во всем виновата моя болезнь?

Шварц. Ничего, Уолли.

Макгрудер (с *большим жаром).* Скажи, что ты имел в виду?!

Шварц. Ничего. В самом деле, Уолли.

Совсем ничего.

Макгрудер. Ты имел в виду деньги? И что там пишут об этом в книге?

Шварц *(нехотя).* Ну, хорошо…

Макгрудер. Что об этом сказано в книге?

Шварц. Уолли, Уолли, не мучай себя!

Макгрудер. Но что там сказано? Ты же помнишь.

Шварц. Там написано, что при парезе пациенту начинает казаться, что окружающие его обворовывают.

Макгрудер *(садится медленно, потрясенно и испуганно).* Мой Бог, это вправду так. Я и забыл об этом. О Боже. *(Обращается к Кларку.)* Но у меня была веская причина. Я имею в виду, все ведь случилось из-за Лоренцо — он во всем виноват. *(Пауза.)* Но при всем при этом! Я не стал бы так говорить с тобой, если бы не был болен! *(Пауза, смотрит в ужасе вокруг, затем хватает себя за голову.)* Как сказал доктор Гланц, это все идет из моей головы! Я сумасшедший! Я спятил! Спятил!

Демоны вырываются на свободу. У Макгрудера

начинается бред. Его пытаются успокоить и усмирить. Свет гаснет.

Сцена вторая

Несколькими днями позже, позднее утро. Макгрудера нет, Кларка тоже нет, его постель застелена, кровать пуста. Шварц с градусником во рту лежит и читает книгу «Как управлять зоомагазином». Линвивер входит слева и проходит через палату к кровати Шварца, проверяет у него термометр.

Линвивер. Хмм. Неплохо. Как ты себя чувствуешь, старина?

Шварц *(прикасается к своему животу).* Сегодня здесь не так болит. Не так, как вчера ночью. Это было ужасно!

Линвивер. Тебе помогли таблетки, которые я дал?

Шварц. О да, я быстро уснул. Боль прошла. И знаете, мне снились прекрасные сны. Фантастические сны! Мне снились разные животные. Забавно, наверное, это потому, что я читал свою книгу о том, как управлять зоомагазином.

Линвивер *(щупая пульс у Шварца).* Хорошо. Хорошо, что боль прошла и тебе снились весе-

лые сны.

Шварц. В одном из них мне снилось, что я нахожусь в зоомагазине. Я хочу купить такой после войны. Только странно, в нем не было ни одной клетки. Животные — они все там ходили сами по себе, как на воле. *(Пауза.)* Какой забавный сон. Все знают, что в зоомагазине не может не быть клеток.

Линвивер *(рассеянно).* Мммм. Странный сон. Чего бы ты хотел, Шварц? Может быть, апельсинового сока? Как насчет стакана сока со льдом?

Шварц. Да, это было бы славно.

Линвивер *(отходит).* Я распоряжусь на кухне. *(Подходит к Андерсену, одному из медбратьев, и говорит с ним тихо, чтобы Шварц не слышал. Объясняя тяжесть состояния Шварца, показывает большим пальцем вниз.)* Я не понимаю, помогает ему морфин или нет. Если он будет опять так страдать, надо будет ввести ему еще восемь кубиков внутривенно.

Он уходит. Какое-то время Шварц продолжает читать. Справа появляется Макгрудер, в руках у него ранец. Он все еще носит свою робу, на которой написана буква «S».

Макгрудер. Привет, Шварц.

Шварц. Уолли! С возвращением! Я думал, тебя

выписали!

Макгрудер. Нет, Шварц, мне не настолько повезло. Это все мои десны. Помнишь, как они кровоточили? Меня положили в отделение наверху и обследовали четыре дня, а потом лечили десны. Трудно понять, что они там нашли. *(Пауза.)* Географическая глотка. Они сказали, что у меня географическая глотка.

Шварц. Итак, ты вернулся.

Макгрудер. Да, я вернулся.

Шварц. Назад.

Макгрудер. Назад. *(Длинная пауза.)* Так или иначе, они подлечили мою глотку. Они мазали мои десны какой-то красной мазью, и я выглядел, как Дракула, и через сорок восемь часов все очистили. *(Пауза.)* И вот теперь у меня потрясающе чистый рот. Чистый и беспроблемный. Рот, который захотела бы поцеловать любая девушка. Если бы она не знала, что у меня есть еще. *(Пауза, оглядывается вокруг.)* А где Лоренцо?

Шварц. Кларк? *(Маленькая пауза.)* Он умер.

Макгрудер. Умер? *(Пауза.)* Не могу в это поверить! Боже!

Шварц. Он быстро ушел, Уолли. Как долго тебя не было? Четыре дня? Он, по-моему, умер в среду, на второй день, как ты ушел. Сразу после того, как

тебя перевели наверх, он впал в кому, думаю, это так называется. Доктор Линвивер и доктор Гланц пытались его откачать, но безуспешно. *(Пауза.)* Парень, как же он вонял в последние дни!

Макгрудер *(задумчиво).* Это грустно. Несмотря на то что он был патологически злым, все это очень грустно. Всегда так. Трудно поверить, что Лоренцо нет.

Шварц. Было грустно. Мне было ужасно грустно видеть, когда он впал в кому, несмотря на все гадости, которые он совершал. *(Пауза.)* Знаешь, Уолли, мне было так его жаль, что я даже попытался пообщаться с ним. Его лицо посинело. Оно стало странно синего цвета, как будто ему под кожу впрыснули синих чернил. И его черные губы оттопырились в агонии и обнажили зубы. Это всего меня перевернуло. Он выглядел таким несчастным и бесконечно одиноким в этой своей агонии.

Макгрудер. Ты что-нибудь сказал ему? Ты что-то дал ему?

Шварц. В каком то смысле да. Но не буквально, хотя и старался. Не знаю, Уолли, я стоял и смотрел на него, видел муки на его лице, слушал его тяжелое дыхание и сказал себе: «Он умирает». И я открыл книгу рэбби на слове «Смерть». И про-

читал Лоренцо несколько строк оттуда. «Смерть — прекрасная и естественная часть жизни, ее стоит бояться не больше, чем сна». И я слышал, как Лоренцо сказал: «Это все ишачье дерьмо». И потом я подумал — это в нем ненависть говорит, наша ненависть возвращается к нам — к нам, чья кожа белая, и эта переполненная чаша терпения изливается на нас самих. Я думал, что должен просить прощения у Лоренцо, просить, чтобы он простил меня, простил нас за все, что мы сделали ему, и поэтому я открыл книгу на слове «Прощение» и прочитал эти замечательные строки: «Самый большой дар человека — это умение прощать». И потом я спросил: «Ты понимаешь это, Лоренцо? Ты можешь простить меня?» И его голос был таким слабым и больным. Я слышал, как он ответил: «Прощаю». И он издал короткий смешок и сказал: «Прощаю. Поцелуй мою черную задницу». *(Пауза.)* Уолли, Уолли, я был в отчаянии. Он угасал на моих глазах, умирал прямо передо мной. Я чувствовал, что не должен позволить ему уйти со всей этой ненавистью внутри его. Как-то должен был достучаться до него. Поэтому я прочитал ему еще из книги, где рэбби говорит о девятой симфонии Бетховена. «All Menschen werden Bruder» — надеюсь, я правильно это про-

изношу: «Все люди становятся братьями, когда они протягивают друг другу руки и любят друг друга». Затем я прекратил читать и посмотрел на него и сказал: «Лоренцо, мы не должны жить и умирать с такой ненавистью внутри. Мы должны быть братьями и любить друг друга». Затем я сказал напоследок: «Я люблю тебя, Лоренцо. Я люблю тебя как брата. Пожалуйста, позволь себе любить и меня в ответ». *(Пауза.)* Он сказал: «Хорошо, я полюблю тебя. *(Пауза.)* Я полюблю тебя, когда в заднице у свиньи распустятся розы».

В этот момент свет переходит в кабинет к доктору Гланцу, который начинает разговаривать жестами с Линвивером.

Макгрудер *(обдумав слова Шварца).* Понятно, он весь в дерьме. А что ты, Шварц? Как ты себя чувствуешь?

Шварц. О, я не знаю, Уолли. Бывали времена и получше, конечно. Но так приятно снова видеть тебя. Даже при том, что я понимаю, что ты не очень рад своему возвращению.

Макгрудер *(трагически).* Да, Шварц, я не рад возвращению.

Шварц *(осторожно). У тебя* появились плохие симптомы?

Макгрудер. Нет. *(Пауза.)* Ну, я не знаю. Я гулял на

днях и оступился. Меня прошибло потом, я вспомнил об анемии, но больше это не повторялось. *(Пауза.)* Не знаю, Шварц. Сейчас я так хорошо себя чувствую, что не хотел бы сдаваться.

Шварц. Ты прекрасно выглядишь, Уолли. Я не думаю, что стоит беспокоиться. Думаю, ты просто отсидел ногу. Ты классно выглядишь. Я бы хотел выглядеть таким здоровым, как ты.

Макгрудер. Если бы я выглядел так же, как я себя чувствую, ты бы увидел моряка сифилитика на двести процентов.

Шварц *(от боли морщится).* ОООО!

Макгрудер. Что случилось? Тебе помочь?

Шварц. Ничего не надо. Она приходит и уходит, моя боль. Все будет в порядке.

Линвивер *(входит слева, оттуда, где он говорил с Гланцем).* Макгрудер, ты родился в рубашке. Все твои тесты на реакцию Вассермана стали отрицательными.

Макгрудер *(остолбенев).* О чем вы говорите?

Линвивер. Выходит, что ты чист как стеклышко. У тебя не больше сифилиса, чем у Микки-Мауса.

Макгрудер. Не понимаю, о чем вы.

Линвивер. Твой диагноз был изменен на ложно положительный после того, как тебе было проведено лечение полости рта.

Макгрудер. Это такая шутка? *(Вскипает яростью.)* Не шутите так, Линвивер! Прекратите эти шутки, я их не потерплю!

Линвивер *(обнимает его и пытается успокоить).* Это не шутка, сынок. Ты будешь жить, как герой, где-нибудь на берегу океана и греться на солнышке. Это же лучше, чем кончить свои дни слепым или парализованным? А если ты и умрешь, тебя наградят крестом.

Макгрудер. Но я не понимаю!

Линвивер. Это просто. Сейчас объясню. Тест на реакцию Вассермана почти всегда правильный. В некоторых случаях, в одном из тысячи, какие-то заболевания могут спровоцировать ложную реакцию. Малярия, например. Инфекция полости рта, тонзиллит в другом случае. Когда ортодонт вылечил твои десны, реакция Вассермана стала отрицательной. Вот и все!

Макгрудер *(высвобождается из его объятий).* Что вы такое говорите? Вы понимаете, что вы говорите?

Линвивер *(осторожно).* Пусть остальное тебе расскажет шеф, сынок Пусть объяснит доктор Гланц. Он хочет тебя видеть прямо сейчас. И вот, кстати, твое предписание. Ты можешь завтра возвращаться в часть.

Вручает ему предписание.

Макгрудер *(все еще в состоянии шока).* Отрицательная реакция Вассермана? Ложно положительная реакция? Тонзиллит?

Он останавливается перед кабинетом доктора Гланца и слушает, что происходит внутри. Совершенно понятно, что у него на уме, когда он это слышит. В это время свет переключается на кабинет доктора Гланца, который сидит перед магнитофоном, слушая интервью с Макгрудером, — выражение лица чувственное, бесстыдно чувственное.

Голос Гланца. Блиц-опрос. Сессия номер два. *(Пауза.)* А теперь, Макгрудер, мы хотим напомнить тебе снова, что ты должен описать своими словами первые отношения с девушкой, своими словами. Итак? *(Пауза.)* Ее соски затвердели и порозовели, когда ты прикоснулся к ним рукой?

Голос Макгрудера *(протестуя).* Но, сэр… *(Пауза.)* Да, сэр, они затвердели, но…

Голос Гланца. Ты сам должен рассказать, мы на этом настаиваем!

Голос Макгрудера. Хорошо, сэр, пусть так. Соски порозовели и напряглись, когда я прикоснулся к ее груди.

Гланц останавливает магнитофон и прокручи-

вает ленту назад, заново прослушивает кусок, а потом продолжает слушать дальше.

Голос Гланц а. И ее бедра. Они были горячие и гладкие, когда ты их гладил?

Голос Макгрудера. Да, сэр. Они были горячие и гладкие, когда я гладил их.

Магнитофон выключается, и Макгрудер входит в кабинет.

Гланц *(засуетившись).* Как раньше говорили, «и на старуху бывает проруха». Ты понимаешь, что это значит? Ты слышал эту поговорку?

Макгрудер *(медленно, как в трансе, почти беззвучно, с медленно нарастающей яростью в голосе).* Это не только раньше так говорили. Это и сейчас так говорят, сэр. *(Слово «сэр», произнесенное после паузы, звучит угрожающе.)* И на старуху бывает проруха.

Гланц. Так или иначе, ты понимаешь суть. Это относится и к нашим современным научным методам диагностики. Самые совершенные инструменты и методы диагностики иногда дают сбой. Например, реакция Вассермана. Самое надежное средство для обнаружения сифилиса несовершенно. В твоем случае оно дало сбой.

Макгрудер *(тихим угрожающим голосом).* Тогда почему вы не сказали мне об этом, сэр?

Гланц *(не услышав его протест).* Как тебе, без сомнения, уже сказал Линвивер, твоя положительная реакция Вассермана была вызвана тонзиллитом, когда у тебя впервые здесь взяли анализ, и потом все это только усугублялось. Микроорганизмы при тонзиллите и спирохеты по своей природе довольно похожи и дают одинаковую реакцию Вассермана. Это не так часто бывает, но все же случается…

Макгрудер *(все еще спокойно, но уже громче).* Вы могли сказать мне об этом.

Гланц. О чем я мог сказать, Макгрудер?

Макгрудер *(во весь голос).* Вы могли мне сказать!

Гланц *(несколько обеспокоен его тоном).* Сказать что?

Макгрудер. *(Он тщательно выговаривает слова и с трудом сдерживает ярость.)* Скажите мне теперь, что вы должны были сказать мне раньше.

Гланц. Мы не вполне понимаем…

Макгрудер *(довольно агрессивно, игнорируя субординацию).* Тогда я заставлю вас понять. Если бы вы сказали то, что должны были сказать, у меня была бы надежда. Вы должны были сказать, что положительную реакцию могла вызвать другая болезнь. Например, хронический тонзиллит.

Плоскостопие! Стригущий лишай! Что угодно! Вы не имели права уверять меня, что я умру разбитый параличом и слепым!

Гланц *(встревоженный тоном Макгрудера, поднимаясь со своего кресла).* Осторожно, Макгрудер. Я официальное лицо при исполнении. Держи себя в руках. Я не говорил тебе о возможной ошибке в диагнозе только потому, что у нас есть приказ никогда не давать пациентам ложную надежду.

Макгрудер. Надежду! Что ты знаешь о надежде и ожидании?! Не говори мне о надежде и ожидании, несчастный ты сукин сын!

Гланц. Ты забываешься, Макгрудер! Тебя посадят за это. Ты говоришь с лейтенантом армии США!

Макгрудер *(подходит ближе к Гланцу, берет железный стул и двигается навстречу).* Заткнись и слушай! Теперь я кое-что тебе скажу. И не тычь мне своим званием! Для меня ты хуже фашистов. Ты отличаешься от эсэсовца только тем, что от эсэсовца не пахнет хлороформом. Дай мне эту запись, свинья, садист поганый!

Гланц *(паникуя).* Макгрудер, ты потерял рассудок. Прекрати! Остановись! *(По направлению к двери?)* Дежурный! *(Макгрудеру.)* Мы протестуем!

Макгрудер *(берет стул и прижимает Гланца*

к стене). Прекрати говорить «мы», урод! Ты не конгресс США или корпорация, ты не король Швеции! Ты паршивый маленький функционер с грязными мозгами и стетоскопом в ушах, черт побери. С этого момента я требую, чтобы ты говорил «я», а не «мы». Дай мне эту пленку!

Гланц *(пытаясь урезонить).* Макгрудер, мальчик, успокойся. Позволь мне объяснить тебе. Ой! Ты мучаешь нас! Позволь нам объяснить тебе! Ой! Ой! Ты раздавишь нам голову!

Макгрудер. Мне! Не нам! Говори — позволь мне объяснить тебе, черт побери.

Гланц *(сломлен).* Позволь мне объяснить. Ой, ой! Ты сдавил нам артерию!

Макгрудер *(сжимая руками шею доктора, грубо толкает Гланца* на *стул).* Объясняй!

Гланц. Сперва мы хотели спросить…

Макгрудер. Я хочу спросить…

Гланц. Сперва я хочу спросить тебя…

Макгрудер. Теперь я задаю вопросы, Гланц! Слушай. Отвечай мне. Ответь мне, почему ты не сказал, что была вероятность, шанс, что у меня другая болезнь.

Гланц. Потому что, как я сказал, это было наше, мое правило — не давать пациентам пустых надежд. Ой! Ты сдавил мне трахею!

Макгрудер. Ты лжешь, Гланц! Ты просто возбуждался от этого. Ты получал от этого кайф!

Гланц. Это несправедливо! Я врач! Я давал клятву Гиппократа. Это чудовищное обвинение…

Макгрудер *(прерывая).* Ты не врач, Гланц! Ты вампир! Ты питаешься смертью.

Гланц *(пытаясь освободиться).* Это клевета, низкая клевета. Как дипломированный уролог, поклявшийся помогать людям, я отвергаю эти домыслы, эти обвинения…

Макгрудер *(принуждая его сесть).* Заткнись, ты, червяк! Есть еще кое-что, что я хотел бы тебе сказать, а ты должен услышать. А затем ты можешь сдать меня в полицию, бешеная обезьяна. Я хочу еще кое-что узнать. О твоих порнографических допросах. Как насчет этого? В чем был их смысл, если не в том, чтобы возбуждать твой гнилой рассудок? О, я хочу взять эти записи. Я хочу, чтобы кто-нибудь услышал, как ты работал!

Гланц *(взвыл).* Опять неправда, Макгрудер. Ошибка! Злостная клевета! Если бы я так тщательно не исследовал все нюансы твоей биографии, то никогда бы не доказал, что ты подхватил свой сифилис от той взрослой женщины… с кем ты… *(начинает понимать, что говорит неубедительно, и замолкает)* ты имел отношения. *(Пауза.)* Я

никогда бы не имел возможности… доказать… источник… *(Останавливается.)* Я имею в виду, Макгрудер…

Длинная пауза, во время которой они пристально смотрят в глаза друг другу и оба отчетливо понимают, что Гланцу нечего сказать в оправдание.

Сцена третья

В тот же день, несколько часов спустя, Макгрудер сидит на кровати, пишет письмо. Одет в рубашку и брюки цвета хаки, его стережет охраннике нашивками военной полиции. Линвивер входит на сцену слева, чтобы осмотреть Шварца, который лежит в кровати, получив свою дозу лекарства.

Линвивер. Как ты себя чувствуешь, Шварц?

Шварц *(после паузы).* Получше, мне кажется. Эти уколы — действуют.

Линвивер *(хлопает по плечу).* Хороший парень. *(Отходит от Шварца и направляется к Макгрудеру, встает над ним, руки в боки, обращается к нему, как отец к своему нашалившему сыну.)* Сынок, ты попал в плохую историю. Понимаешь? *(К охраннику.)* Ну и когда ты его потащишь на

гауптвахту?

Охранник. С минуты на минуту. Я жду, пока капитан Бадвинкель закончит писать рапорт на заключенного.

Линвивер. О Господи, ты вляпался, сынок. Лучше бы ты убил человека или стал содомитом, лучше бы ты завел свой корабль на рифы. Все это ничего. Но совершить то, что ты наделал… Оскорбить уважаемого офицера! О, парень, страшно подумать, что они с тобой сделают!

Макгрудер *(без эмоций).* Что, Линвивер? Что они могут сделать?

Линвивер. Ну, когда кто-нибудь из военных моряков совершает преступление, то его сажают в большую тюрьму в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир. Уверен, ты слышал о ней. Там есть подвал, куда сажают таких, как ты, а ключ выбрасывают. *(Печальным тоном.)* Зачем же ты это сделал, парень? Как же ты мог совершить такое ужасное преступление?

Макгрудер *(после краткого размышления).* Я просто не мог в тот момент поступить по-другому.

Линвивер. Уолли, пусть это останется между нами, но ты страшно напугал доктора Гланца. Он так расстроился, что я был вынужден вколоть

ему два кубика нембутала. Смешно было видеть, как он спал в своей комнате и посасывал палец, будто младенец. Никогда такого не видел. *(Пауза.)* И знаешь, что еще?

Макгрудер. Что?

Линвивер. Такого никогда раньше не случалось. Я имею в виду, что он стал говорить со мной от своего имени. От первого лица. Он стал говорить «я», а не «мы», как обычно. «Я иду спать!» Фантастика!

Он уходит за кулису с левой стороны сцены. Макгрудер сидит и пишет письмо. В то время, когда он пишет, звучат песни по радио, время от времени прерываемые сводками о победах армии генерала Макартура на Тихом океане. В конце концов он засовывает письмо в конверт, заклеивает его и смотрит на Шварца.

Макгрудер. Как дела, Шварц? Тебе лучше?

Шварц. Да, Уолли. Уколы хорошо помогают.

Макгрудер. Прекрасно. Держу пари, что тебя выпишут отсюда через неделю.

Шварц. Может быть, парень, может быть. Так или иначе, ты уж точно отсюда выйдешь.

Макгрудер. Да, правда. Я везучий. Я думаю, все, кто выходит отсюда, счастливые люди. Понимаешь, даже если ты идешь отсюда в тюрьму, все

равно свобода! *(Он придвигается к кровати Шварца.)* И знаешь, что еще, Шварц? Думаю, я победил свою ипохондрию. Подыши на меня, Шварц! *(С улыбкой Шварц дует ему на лицо.)* Фантастика. Дыхание ребенка! Как дыхание зефира!

Линвивер выходит на сцену с левой стороны и подходит к охраннику с какими-то бумагами, обращается к Макгрудеру.

Охранник. Хорошо, моряк, уходим. Бери свой рюкзак.

Линвивер. Напиши мне письмо из Портсмута. Я буду скучать по тебе, сынок. *(Макгрудер и охранник выходят, а он подходит к постели Шварца. Он смотрит на него, затем садится на кровать и берет книгу о зоомагазине.)* Что ты читаешь, Шварц?

Шварц *(слабым голосом).* Читаю о маленьких собаках. Да, о крохотных собачках. Линвивер. *(Начинает читать, в то время как звучит песня «Где-то реет звездно-полосатый флаг», постепенно заглушая его голос.)* «…Хорошее вложение денег. Дружелюбные, миролюбивые чихуахуа — одна из самых привлекательных пород в списке собак. Другая порода, на которую стоит обратить внимание, — игривые мексиканские болонки. Женщины чаще всего покупают эту породу, по-

тому что они могут носить их в своих сумочках, заботиться и кормить их из рук, удовлетворяя свой материнский инстинкт. Множество раз я спрашивал опытных владельцев зоомагазинов, действительно ли эти маленькие существа более беспокойны, чем большие собаки? Ответ был один и тот же — нет. Мнение, что маленькие собачки более нервные, — абсолютный вымысел»...